
АПОЛЛИНАРИЯ СУСЛОВА
ГОДЫ БЛИЗОСТИ
С ДОСТОЕВСКИМ

А. П. СУСЛОВА

ГОДЫ БЛИЗОСТИ С ДОСТОЕВСКИМ

ДНЕВНИК — ПОВЕСТЬ — ПИСЬМА

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
И ПРИМЕЧАНИЯ
А. С. ДОЛИНИНА

ИЗДАНИЕ М. и С. САБАШНИКОВЫХ
1928

ББК 83.3Р1-8
С 90

Художник А.Шаталов

Суслова А.П.
С 90 Годы близости с Достоевским:
Дневник-повесть-письма / Вступ. ст. и прим. А.Долинина. —Репринт. изд.— М.: РУССЛИТ, 1991,—192 с.

ISSN 5-86508-006-7

Аполлинария Суслова была связана с Достоевским многие годы и послужила прототипом некоторых его женских образов. Впоследствии она стала женой Василия Розанова Эта женщина, которая сыграла огромную роль в жизни двух великих людей и сама была заметной фигурой в литературной жизни своего времени.

4702010100-006
С ———————— Без обьявл. ББК 83.3Р-8
86508(011)-91

ISBN 5-86508-006-7

ЗАПИСИ ПРОШЛОГО

ВОСПОМИНАНИЯ И ПИСЬМА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

С. В. БАХРУШИНА и М. А. ЦЯВЛОВСКОГО

Дневник Аполлинарии Прокофьевны Сусловой я использовал в одной своей работе о Достоевском[1]). По нечастым разбросанным записям за небольшой отрезок времени — всего два года — пытался я в той работе восстановить нравственный облик этой исключительной женщины, поскольку судьба ее тесно сплелась с трагической судьбою Достоевского и с цветущей молодостью одного из лучших его истолкователей, потому что был он во многом ему конгениален — Василия Васильевича Розанова.

Я слышал потом упреки себе за то, что дневник был опубликован не полностью. И эти упреки мне казались заслуженными. У каждого, действительно, могло шевелиться сомнение, не находился ли я, когда рисовал ее портрет, под властью ложной интуиции: заранее предвзятого образа, к которому сами собой подбирались факты и черты ее сложного характера, соответствующие этому образу. А между тем истинное знание о ней—кто же она, какие необыкновенные силы таились в ее душе, чтобы оставить такой неизгладимый след в жизни и творчестве этих двух больших писателей — чрезвычайно ценно. И не только с точки зрения биографической. Вот ставит ее Розанов в реальную связь с героинями Достоевского второго периода: к ней подходит и Дуня, сестра Раскольникова, и Аглая (из „Идиота"). „Только Грушенька (из „Братьев Карамазовых") — ни-ни-ни. Грушенька, русская, похабная, в ней (Сусловой) ничего грубого, похабного". Но если Дуня и Аглая, то и Лиза Дроздова из „Бесов", и, может быть, также Ах-

---

[1]) См. Достоевский, т. II, под ред. А. С. Долинина, изд. „Мысль" Ленинград 1925 г.

макова из „Подростка“ и уж наверно Катерина Ивановна из „Братьев Карамазовых“, потому что это та же Дуня и Аглая. А дочь Достоевского[1]) свидетельствует об этом еще более определенно: с Сусловой списана фигура Полины из „Игрока“, всех героинь, которые названы и Розановым, и, сверх того, ее черты находятся еще в образе Настасьи Филипповны (в „Идиоте“).

Так может быть оправдано, уже этим одним, настоящее полное издание Дневника и одной неоконченной повести, в которой тоже находит свое отражение ее сюжет с Достоевским, полный захватывающего драматизма.

Но ценен в высшей степени Дневник и сам по себе, со всеми своими мельчайшими набросками, несмотря на нарочитую сухость его тона, на отсутствие „стиля“ и неяркую эмоциональность. Под покровом реалистической трезвости, столь характеризующей умонастроение эпохи (шестидесятые годы), билась страстная, тревожная, много ищущая и глубоко страдавшая душа женщины, которая рано вышла на дорогу, чтобы стать одной из первых жертв идей своего времени, так пленительно представших перед молодым тогдашним поколением. К тем немногим личностям принадлежала она, в которых сущность движения и воплощается: они соединяют в себе недюжинную силу духа с врожденной чуткостью к голосам эпохи, служат идее, не извне пришедшей, другими созданной, а сами ее вынашивают, делают ее предметом веры и убеждения. И пусть Суслова в жизни своей не приобрела никакой славы, для общества в сущности почти ничего не сделала: не стала по тому времени ни первой женщиной-врачом, химиком или инженером, ни основательницей каких-нибудь фельдшерских или акушерских курсов, не сделалась даже настоящей писательницей. Но она много и глубоко жила: жизнью в высшей степени напряженной, тело и душу свою несла на заклание чарующему идеалу свободной творческой личности. И в этом смысле ее нужно считать одной из типичнейших представительниц своего времени, внутренне (в глубинах психологических) меньше

---

[1]) „Достоевский в изображении его дочери“, под ред. А. Г. Горнфельда, Госиздат 1922 г., стр. 38. При всей ненадежности этого источника, в данном случае можно им пользоваться так как утверждение Л. Ф. Достоевской о прототипности не соответствует тенденции автора, а явно противоречит ей.

всего трезвого и холодного, несмотря на то, что „философия эпохи“ обязательно строилась тогда в полном согласии „с только-что узнанной истиной, что человек происходит от обезьяны“.

Три раза нарисован портрет Сусловой: словами и в своеобразии стиля тех людей, которые не хотели да и не могли к ней относиться с достаточным спокойствием, чтобы оставить потомству об'ективно очерченный образ. И потому, что эти люди, при всем своем пристрастии, говорят об одних и тех же чертах характера, строят его на одинаковой основе,—ее портрет приобретает особенную убедительность.

„С Суслихой я первый раз встретился в доме моей ученицы А. М. Щегловой (мне 17 лет, Щегловой 20—23, Сусловой 37): вся в черном, без воротников и рукавчиков (траур по брату), со „следами былой“ (замечательной) крастоты... Взглядом опытной кокетки она поняла, что „ушибла“ меня — говорила холодно, спокойно. И, словом, вся —„Екатерина Медичи“. На Катьку Медичи она в самом деле была похожа. Равнодушно бы она совершила преступление, убила бы слишком равнодушно; „стреляла бы в гугенотов из окна“ в Варфоломеевскую ночь — прямо с азартом. Говоря вообще, Суслиха действительно была великолепна, я знаю, что люди были совершенно ею покорены, пленены. Еще такой русской я не видал. Она была по стилю души совершенно русская, а если русская, то раскольница бы „поморского согласия“, или еще лучше —„хлыстовская богородица“[1]).

Этот портрет пристрастнейшей рукой набросал Василий Васильевич Розанов, повидимому, всю жизнь испытывавший к Сусловой глубочайшую ненависть в соединении с неискоренимым восхищением: ею, совершенно русским стилем ее души. И видим мы здесь, в этом портрете, необычайную собранность характера — человека с исключительной, фанатической волей, властно сдавливающей всякие колебания, если вера его, убеждение, требуют непосредственных действий. Да, таким существом люди должны быть „совершенно покорены, пленены“ „Раскольница поморского согласия“, „хлыстовская богоро-

---

[1]) См. „Путь Достоевского“ Л. П. Гроссмана, изд. Брокгауза 1924 г., где приводится (стр. 152) письмо Розанова к Волжскому.

дица“ — она не умеет ни прощать человеческие слабости, ни понимать их: пожалеть человека за его слабости.

А в одном из писем[1]), от 19 апреля 1865 г., к ее сестре, с которой он был очень дружен, Достоевский говорит то же самое обыденным стилем повседневности: „Она требует от людей всего, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважение других хороших черт, сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям. Она корит меня до сих пор тем, что я недостоин был любви ее, упрекает меня беспрерывно, сама же встречает меня в 63 году в Париже фразой: „Ты немного опоздал приехать“[2]), т.-е., что она полюбила другого... Я люблю ее еще до сих пор, очень люблю, но я уже не хотел бы любить ее... мне жаль ее, потому что, предвижу, она вечно будет несчастна. Она нигде не найдет себе друга и счастья... Она не допускает равенства в отношениях наших... считает грубостью, что я осмелился говорить ей; например, осмелился высказать, как мне больно. Она меня третировала свысока. Она обиделась тем, что и я захотел, наконец, заговорить, пожаловаться, противоречить ей“.

Это было писано, когда уже приближался окончательный разрыв между ними, в котором активную роль играла она, а не Достоевский. Но пройдут еще два года, разрыв станет совершившимся фактом, он успокоится, судьба пошлет ему в последние спутницы молодую, покорную жену, перед ним благоговеющую, — тогда снова будет нарисован портрет Сусловой, в последний раз; будут повторены те же черты ее характера, в тех же почти словах, но уже в совершенно ином освещении. То, что должно было служить ей здесь[3]) в укоризну, возводится в перл создания; на самую высшую ступень возносится ее этический максимализм, ее неуменье „прощать людям ни единого несовершенства“.

„... Я не знаю твоей жизни за последний год и что было в твоем сердце, но судя по всему, что о тебе знаю, тебе трудно быть счастливой.

---

[1]) Письмо не опубликовано.

[2]) См. ниже, стр. 47, вторую запись в Дневнике от 13 августа.

[3]) В неопубликованном письме Д. к сестре ее.

О, милая, я не к дешевому необходимому счастью приглашаю тебя. Я уважаю тебя (и всегда уважал) за твою требовательность, но ведь я знаю, что сердце твое не может не требовать жизни, а сама ты людей считаешь или бесконечно сияющими или тотчас же подлецами и пошляками...

До свиданья, друг вечный".

Это из последнего письма к ней Достоевского из Дрездена от 5 мая 1867 года[1]). Не о себе ли это говорит он, когда противопоставляет ее непримиримой требовательности „дешевое необходимое счастье"? Житейски был он с Анной Григорьевной, своей последней женой, весьма счастлив. Поскольку вообще в жизни мыслимо было для него успокоение, оно было достигнуто. „Поэзия" же всегда таит в себе непредвиденные великие опасности, и тот, кому нужно „необходимое счастье", справедливо ее опасается.

От эпохи Суслова взяла свой идеал человека, свои высокие нравственные требования к нему. И в соответствии же с умонастроением эпохи, пусть философски несравненно более низкой, чем предшествующие 40-ые или 30-ые годы, она обладала тем неспокойным активным мироощущением, которое настойчиво требовало действительного участия в создании новых форм жизни. Прибавим еще, что никакие традиции прошлого над ней не тяготели. Крестьянка по крови, она пришла в мир с той неумолимой прямолинейностью, с тем высоким нравственным закалом, которые и являются типическими чертами наиболее ярких представителей 60-ых годов. Да, она была по стилю души „совершенно русская"— русская, простонародная; действительно „раскольница поморского согласия": по стойкости, одержимости одной идеей и властности

Расскажем сейчас, как можно короче, то, что знаем о Сусловой из ее биографии. Это будет к ее Дневнику, столь необычно „бесстильному", как бы предварительным комментарием, без которого читателю было бы почти невозможно проникнуть в глубь ее внутреннего мира, порою так тщательно спрятанного под внешним покровом скупых, намеренно-холодных, слишком обрывистых, записей.

---

[1]) Письмо было впервые опубликовано Н. Л. Бродским в „Недрах" № 2.

Ее отец—крестьянин, крепостной графа Шереметьева, родом из села Панина, Горбатовского уезда, Нижегородской губернии. Был он человек незаурядный, крепкого нравственного закала и больших умственных способностей [1]). Надо полагать, что откупился он на волю еще до освобождения крестьян, оставаясь на службе у своего же бывшего помещика и занимая у него весьма ответственные должности. В начале 60-ых годов он управляет всеми его делами и огромными имениями, постоянно живет в Петербурге, и дети его учатся в высших учебных заведениях. А во второй половине 60-х годов имеет уже собственную фабрику в Иваново-Вознесенске.

Где и в какой обстановке протекло детство нашей героини, об этом почти ничего неизвестно [2]). Не знаем также, где получила она первоначальное образование. Биограф ее сестры, Надежды Прокофьевны (в свое время пользовалась большой популярностью, как первая в России женщина-врач), рассказывает, что годы отрочества она провела в одном частном московском пансионе, по общеобразовательным предметам, кроме новых языков, плохо поставленном [3]). Быть может, там же училась и Аполлинария Прокофьевна? Сестры были очень дружны, и разница между ними всего в два-три года (Аполлинария Прокофьевна старше; родилась в 1840 г.). В одном из ее рассказов, где героиня уже с ранних лет казалась девочкой чужой в семье подруг, гордой, одинокой и никем не понятой,— рисуется быт женского закрытого пансиона с такой подробностью, с такими тончайшими деталями, какие могут быть известны только тому, кто сам находился в такой обстановке. А пишет Суслова свои женские образы обыкновенно с себя, эпизоды из личной биографии об'ективирует в художественные сюжеты.

---

[1]) В моих руках были письма его к целому ряду лиц; они написаны прекрасным литературным языком, совершенно свободным от диалектизмов, виден в них человек серьезно начитанный и привычный к отвлеченному мышлению.

[2]) В одной из записей Дневника (см. ниже стр. 87—88) сказано мимоходом, что до 15 лет жила в деревне.

[3]) См. „Женский Вестник“ 1867 г., № 8; еще: „Русские врачи-писатели“ Л. Ф. Змеева, Пет. 1868 г.

Недостаточны наши сведения и о ранней ее молодости. Знаем смутно, что она вращалась в среде студенческой молодежи; ходила вместе с сестрой в университет слушать публичные лекции популярных тогда профессоров: Костомарова, Спасовича, Стасюлевича и др. И надо думать, что они обе должны были играть в студенческой среде роль очень заметную: энергичные, с пылким темпераментом, быстро и страстно увлекающиеся натуры, красочно одаренные, да к тому еще особенно восприимчивые, по демократическому своему происхождению, к „светлым освободительным идеям" эпохи. Не здесь ли та первая нить, которая ведет нас к повести ее жизни, связанной с Достоевским? Студенчество принимало ведь самое горячее участие — для него они и устраивались—в тех публичных чтениях с выступлениями знаменитых писателей, где Д-ский должен был пользоваться, наравне с Шевченко, особенным вниманием. Страдалец только-что вернулся из Сибири с ореолом борца, так жестоко поплатившегося за свои социалистические убеждения. Знал Достоевский, что молодежь встречала его восторженно, как бывшего каторжника; временами, быть может, было ему неловко выступать в такой роли, и все же выступал. Ибо еще не пришло „перерождение убеждений"; открыто, во всяком случае, еще не обнаружилось. Пусть оно даже и подготовлялось, уже нарастало,— выставлять это на вид Достоевский тогда не торопился.

И вот следующая нить, уже вполне надежная, ведущая сюда, к этому центральному моменту в жизни нашей героини: то, что она очень рано сознает себя писательницей, и первый свой рассказ, „Покуда", печатает во „Времени", в журнале Достоевского. На вопрос когда и при каких обстоятельствах они познакомились, у нас есть в ответ пока единственная прочная дата: цензурная пометка (21 сентября 1861) на пятой книге „Времени", где был помещен этот рассказ. Считаем приблизительно месяц на печатание книги; остается, повидимому, последней гранью август 1861 года. Но, само собой разумеется, рассказ мог быть представлен в редакцию задолго до печатания книги, и очень может быть, Достоевский потому и дал ему место в своем журнале, что лично уже знал ее. Рассказ достаточно слаб художественно, и невольно напрашивается мысль: именно

потому, что уже знал ее и относился к ней с особенным интересом, его оценка оказалась далеко не об'ективной. Была ведь она в юные годы вовсе не „холодной и не спокойной"; пленяла мысль, как бы скорее, на деле показать себя свободной от „предрассудков", от общепринятых норм, и первая, как уверяет дочь Достоевского, написала ему свое „наивное поэтическое письмо"[1]. Может быть, на каком-нибудь публичном чтении заметила, что произвела на него большое впечатление, „ушибла" его; тогда пришлось бы еще дальше назад отодвинуть их первое знакомство.

Но как бы то ни было, несомненно — близость между ними установилась еще в Петербурге, во всяком случае, до второй поездки Достоевского в Европу в 1863 г. И можно заранее сказать: когда близость эта приняла характер глубоко интимный, то вряд ли она была для нее до конца радостной. Ибо можно ли представить себе Достоевского иначе, как только таким, который умел в одно и то же время любить и мучить: мучить любя и в самой любви. Говорим это не на основании одних его произведений: так свидетельствует Страхов[2]), знает и Аполлон Майков[3]). И в юной восторженной ее душе должны были отлагаться тяжелыми пластами какие-то темные переживания. Переживания росли, наслаивались; узел затягивался все туже, неминуемо должен был наступить тот момент, когда человеку становится уже невыносимо, и с закрытыми глазами бросается он в пропасть, чтобы хоть на мгновение избавиться от страшного кошмара мучительной действительности.

Ниже приводится одно письмо Сусловой к Достоевскому, оно бросает яркий свет на характер их отношений, подтверждая только-что высказанные предположения. „Ты просишь не писать, что я краснею за свою любовь к тебе. Мало того, что не буду писать, могу уверить тебя, что никогда не писала и не думала писать... Я могла тебе писать, что краснела за наши прежние отношения, но в этом не должно

---

[1]) См. „Достоевский в изображении дочери", стр. 34.

[2]) См. письмо Страхова к Л. Н. Толстому от 28/XI 1893 г. („Толстовский Музей" сборник I, стр. 307—309).

[3]) См. „Достоевский", т. II, под ред. А. С. Долинина II, стр. 175 (в примечании).

быть для тебя нового, ибо этого я никогда не скрывала и сколько раз хотела прервать их до моего от'езда за границу".

Так проводится резко грань между „любовью" и проявлением этой любви; не любовь, — за нее она не краснела, отношения были для нее тяжки, глубоко оскорбительны. Не знаем точно, когда эти строки писались: отклик ли это непосредственный только-что пережитому. Но без сомнения писала тогда, когда близость еще была; петербургский период встает не как далекое воспоминание о былом, а свежо и остро. Не „краснею за свою любовь", — очевидно, она еще длится: не за прежнюю. Вряд ли писала бы так после путешествия по Италии, в 1864 г., тем более — в 1865 г. Но самое главное, — что говорит она это самому Достоевскому, чувствуя, очевидно, право свое так говорить с ним.

А дальше письмо еще теснее подводит к исходному моменту нашей драмы; характер их отношений, в ранний петербургский период, воспринимается уже почти ощутимо, так что невольно возникает вопрос: не здесь ли скрыта основная причина, которая сделала для нее совершенно невыносимой их связь и неминуемо должна была привести к разрыву? Суслова пишет: „Они, отношения, для тебя были приличны. Ты вел себя, как человек серьезный, занятой, который не забывает и наслаждаться на том основании, что какой-то великий доктор или философ уверял даже, что нужно пьяным напиться раз в месяц. Ты не должен сердиться, что я выражаюсь легко, я ведь не очень придерживаюсь форм и обрядов". — Вот что она разумеет под словами: „отношения" в отличие от „любви". За любовь она бы „не краснела"; в том и трагедия, что любовь оказалась в действительности далеко не такой чистой и возвышенной, какой впервые предстала она юным девическим мечтам ее. Были жгучие наслаждения; было, по всей вероятности, отнюдь не радостное, распаленное сладострастие и в то же время какая-то строгая, жестокая „методичность" „человека серьезного и занятого". Тогда бы каждый приход его приносил с собою, вместе с захватывающими переживаниями сладостно - грешными, и глубокое незабываемое оскорбление. И раскалывался надвое образ „сияющего": „князь" и „самозванец"; — не эрос, а патос. И тем более

мучительно переживалось превращение, что ведь это был он, творец „Униженных и оскорбленных“, сам только-что обливавшийся слезами умиления над идеалом чистой самоотверженной любви главного героя романа.

В письме к Волжскому, плененный неиссякаемым, несмотря на долгие годы, чувством обиды, быть может, и—мести за ее уход, за те слезы, которые он проливал, „не зная, что с собой делать, куда деваться в тоске по ней“ — В. В. Розанов воспроизводит между прочим такой диалог:

„Почему же вы разошлись, А [поллинария] П [рокофьевна] — (разумеется с Достоевским)?

— Потому что он не хотел развестись с женой, чахоточной, „так как она умирает“.

— Так ведь она умирала?

— Да. Умирала. Через полгода умерла. Но я уже его разлюбила.

— Почему разлюбили?

— Потому что он не хотел развестись.

Молчу.

— Я же ему отдалась любя, не спрашивая, не рассчитывая. И он должен был так же поступить. Он не поступил, и я его кинула...“

Розанов утверждает: „Это ее стиль, разговор у меня с ней этот был, и почти буквален. Тезисы во всяком случае эти самые“.

Весь Дневник, который здесь печатается, полностью отрицает эти „тезисы“, как и отрицает их только что приведенное ее письмо к Достоевскому, письма Достоевского к ней и к ее сестре. Да, это верно: она действительно ему отдалась любя, „не спрашивая, не рассчитывая“. А фактически с женой он уже тогда развелся: она ведь жила не в Петербурге, а во Владимире и в Москве. Причина разрыва именно та, которая здесь указана: она—в самом характере его любви, в этот первоначальный петербургский период, казалось бы, еще никем и ничем не омраченной.

И вот возникает такая тревожная мысль. Много раз и сурово свидетельствует Суслова против Достоевского в своем Дневнике; вспыхивает, порою кажется, беспричинной ненавистью к нему,

и линии обычно ведут—как бы само собой это вырывается у нее— к этой первой поре их отношений. Сумеем ли мы когда-нибудь воспроизвести, в ее конкретности, всю волнующую нас правду? По мере того, как жизнь Сусловой складывается все более и более неудачно, возрастает, быть может, ее суб'ективизм? Но в плоскости иной, отнюдь не в плоскости только житейской — она меньше всего должна интересовать — ставится нами вопрос: действительно, справился ли Достоевский с этим тяжким испытанием, ему ниспосланным судьбою? Как подошел он к этой юной, неопытной душе, так преданно перед ним раскрывшейся? Он, уже проживший бо̀льшую половину своей жизни, глубочайший и тончайший испытатель человеческих страстей, — к ней, наивной, только начинающей свой жизненный путь, страстно ищущей в окружающей действительности и в людях воплощения некоего высшего идеала? Был этот идеал прекрасен в своих неясных очертаниях, и сиял он пленительно сквозь зыбкую поверхность позитивистических идей, к которым она прислушивалась, быть может, заявляла и считала себя сторонницей этих идей, но вряд ли воспринимала их до конца в своей душе. В ее Дневнике нередко звучат недоверчивые ноты к идеям эпохи и к людям, которые служили им. Спрашиваем: как поступил Достоевский с этим юным существом? Взрастил ли, поднял ли до высоты совершенства? Или сам не удержался на высоте? И зажглись слепые, жестокие страсти и в ее душе; открывалась бездна, в которую, быть может, сила темная, исходившая от него, первая ее и толкнула. И если это так, и был он причастен ко греху, к вовлечению в темную сферу греховности, то как он относился к самому себе в минуты просветления, когда затихали кипевшие в нем страсти? — К себе, пусть даже и косвенно соблазнившему „одну из малых сих"?

Чувствуем и сознаем всю тревожность и ответственность этого вопроса, когда ищем зависимости или хотя бы соответствия, и в сфере эмоциональной, между личным опытом писателя и его претворением в художественном творчестве. Нам кажется, что именно здесь и находится один из узлов каких-то очень глубоких трагических переживаний Достоевского, нахлынувших на него, вместе с ощущением этого непоправимого

греха, совершенного им по отношению к Сусловой. Так открылась бы нам первопричина столь огромной эмоциональной насыщенности, в плоскости подобных переживаний, „Записок из подполья“, позднее „Идиота“ (Настасья Филипповна), быть может, даже „Исповеди Ставрогина“ (в „Бесах“).

В этом предварительном сжатом очерке о жизни Сусловой мы вынуждены оставить нашу гипотезу неразвернувшейся. Пусть мелькает она время от времени перед читателем. Когда-нибудь, быть может, удастся сделать ее более убедительной. Мы у преддверия Дневника: первая запись в нем, как раз в связи с Достоевским, датирована: „19 августа. Париж“. Год не указан, но не подлежит сомнению, что это 1863 год: Суслова ждет его со дня на день, они вместе поедут в Италию, а это случилось во вторую поездку Достоевского за границу вскоре после закрытия „Времени“ (в мае 1863 года). В предыдущем году он путешествовал по Европе сначала один, а конец июля и август — вместе со Страховым [1]). Суслова очутилась вдруг в Париже. Уехала одна, без Достоевского, весною или в начале лета, потому что не хотела его дожидаться, — один этот факт не говорит ли уже за то, что в их отношениях произошла какая-то крутая перемена, точно она действительно „покинула его“, торопится порвать с ним, спасаясь почти бегством. И вот, в течение этих нескольких месяцев, трех или четырех, которые она провела в Париже, вспыхнуло в ее душе новое чувство, молодое и яркое, захватило ее с такой внезапностью, разожглось пламенем такой слепой страсти, что без всяких размышлений о будущем, со слабой уверенностью в настоящем, ни о чем не рассуждая и не взвешивая последствий, — она отдала свое сердце и всю себя человеку чуждой среды и племени [2]). Только бегством от самой себя, состоянием как бы одержимости единой мыслью: скорее и как можно дальше, бесповоротно оттолкнуться от недавнего пережитого, — нужно об‘яснить эту столь быстро загоревшуюся страсть. Или: душа ее, после петербургского периода, не была уже столь юной

---

[1]) См. материалы к биографии Достоевского, изд. 1883 г. стр. 240—243.

[2]) Из Дневника видно, что он родом испанец, — не то студент-медик, не то молодой врач, по имени Сальвадор.

и чистой? От любви мрачной, размеренно методичной, бросилась она к любви: человека, пусть элементарно несложного, ничем не одаренного, но, быть может, именно этой простотой своей и пленительного, — своим крепким душевным здоровьем.

В „Игроке", где личный сюжет с Сусловой ближе всего претворен, говорится, в связи с „французиком" де-Грие, о той „законченной" внешней форме европейца, которая так нравится именно русской женщине. По нескольким чертам, разбросанным в Дневнике в разных местах, встает перед нами образ молодого „красивого зверя", с едва проступающим на верхней губе пушком; у него гордое, мужественное, самоуверенно дерзкое лицо и безукоризненные аристократические манеры. И прежде всего эта необыкновенная самоуверенность, которую русские ошибочно принимают за крайне развитое чувство собственного достоинства, никогда не допускающее человека унижаться до лжи или обмана. Так стремительно и сложно запутывается сейчас второй, главный узел в жизни Сусловой. Подобно власти де-Грие из „Игрока"—тоже над Аполлинарией („Полина Александровна"),— власть и этого европейца с „законченной формой" над Сусловой оказалась беспредельной. Гордая, независимая, ценившая превыше всего свое свободное „я", — она позволяла себе стоять перед ним в согбенной позе умоляющего, когда тот стал постепенно к ней охладевать,—ей так не хотелось этому верить—и убеждала себя, что все еще любима. Слишком короткой оказалась эта новая яркая полоса ее жизни, оставившая на долгие годы такой глубокий след в ее душе: в течение всего нескольких месяцев — лета и ранней осени — была пройдена она до конца. Буквально за миг счастья поплатилась муками разочарованья, горькой неотомщенной обиды, стыда и раскаяния.

Достоевского Суслова воспринимала очень сложно. Двойственным являлся он ей: в сиянии высшего идеала и в то же время — мутной, тяжелой, чувственной стороной своей. И тем мучительнее была обида для нее, как женщины, что наносил эту обиду он, „сияющий". Меркнул свет перед черными тенями, исходившими от него же, и это было невыносимо. А здесь: простым и ясным, элементарно сильным было ее чувство, оттого и казалось оно вначале таким полным и радостным.

Но, очевидно, только в самом начале. Не была бы Суслова натурой столь исключительно сложной и многосторонне противоречивой, если б переживала только радость. Через год, оглядываясь назад на недавно пережитое, она кратко рассказывает в Дневнике о своем душевном состоянии в те „ночи, когда вдруг просыпалась, в ужасе припоминала происшедшее днем, бегала по комнате и плакала“. Был ужас в том, что снова увидела лик зверя: повторение,—повидимому, в еще более грубой форме— того, что уже раз оттолкнуло ее от себя.

И вот ожидало ее еще глубочайшее оскорбление, когда чувственность, ничем не осложненная, оказалась вскоре удовлетворенной. С этого момента Дневник и открывается, когда впервые стала улавливать признаки охлаждения со всею, обычной для среднего пошловатого европейца, мелкой ложью, прикрываемой искусственными ласками, если любящая начинает тревожиться, что-то смутно подозревая. И в это время все ближе и ближе надвигалась встреча с Достоевским. Ясно представляла, как будет он мучиться, когда узнает все то, что было ею пережито в его отсутствие. Сама страдала, жалея Достоевского, боялась встречи с ним, принимала меры, чтобы не произошло этой встречи. И в то же время — все же ждала его, в этом чужом огромном и блудном Вавилоне; ждала, быть может, как единственного близкого человека, который может и должен помочь в этом ее положении, все более и более запутывающемся.

Теперь, в новом, уже явно на нее надвигавшемся несчастии, когда навождение, исходившее от Достоевского, как бы рассеялось, — из недавнего прошлого в памяти восстает облик только „великого и великодушного“: он один отнесется к ней— можно бы сказать — с величайшим бескорыстием князя Мышкина. Так определяется содержание и основной тон первых страниц Дневника. Мотив Достоевского, в первых записях еще слабый, начинает вскоре звучать все сильнее и сильнее, пока совершенно не вытеснит — только на время — мотивы парижской полосы ее жизни.

Борются между собой, переплетаясь, обе темы: прошлое и настоящее; Достоевский ненадолго снова появляется на первом месте, следы оставляет и на этот раз не менее глубокие,

чем в период петербургский, не меняя его также и качественно. Заносится под одной и той же датой сцена последнего свидания с „законченным европейцем" и первое сообщение о Достоевском. Она пишет ему письмо, которое здесь же приводится: о том, что он „едет немножко поздно... Все изменилось в несколько дней". Он когда-то говорил ей, что она „не скоро может отдать свое сердце" — она его отдала по „первому призыву, без борьбы, без уверений, почти без надежды, что ее любят"... Достоевский надолго запомнит эти слова: „едешь немного поздно". Как мы знаем из начала очерка, на них он и сошлется, как на слова грубые и оскорбительные, в своем оправдании перед сестрой ее, Надеждой Сусловой, когда та бросает ему тяжкое обвинение в том, что он любит наслаждаться человеческими мучениями. Но об'ективно—в этом письме ясно воспринимается черта какой-то роковой внезапности, какого-то крутого перелома, происшедшего в ее душе. Точно сама недоумевает, как это случилось, что так покорно, без борьбы, без надежды отдалась охватившему ее порыву. И не может себя порицать за это, чувствуя за собой какую-то правоту. У Достоевского были колебания: „не скоро отдала ему свое сердце", тем и „ушибла"; его именно пленило это целомудрие девической чистоты, милой скромности. Теперь она с грустью оглядывается на минувшее, и перед неведомым и страшным, которое таит в себе наступающее „завтра", из всего пережитого с Достоевским память отчеркивает лишь мгновения чистые и светлые.

„В эту минуту — читаем дальше в ее Дневнике — мне очень и очень грустно. Какой он великодушный, благородный. Какой ум, какое сердце".

Эти слова относятся к Достоевскому, точно мысленно прощается с ним навсегда. А пока, за эти несколько дней до его приезда, драма парижская быстро нарастает, и скупо — больше всего боится Суслова в своем Дневнике сантиментальностей — заносятся ее перипетии. Колеблется между надеждой и отчаянием, жаждой верить в любовь возлюбленного и очевидностью фактов, эту веру разрушающих,—этих фактов становится с каждым днем все больше и больше. Вспыхивает на мгновение и чувство гордости, проносятся перед нею планы широкие, давно лелеемые: произойдет разрыв, она станет еще свободнее. Она

хочет „видеть Европу и Америку, с'ездить в Лондон (очевидно к Герцену) посоветоваться... поступить в секту бегунов... Нужно жить полнее и шире"...

И снова возврат к основной теме любви, и снова страницы Дневника заполняются записями о двух главных лицах драмы.

Достоевский приехал к ней до получения того письма, и ей пришлось, при первой встрече, лично сказать обо всем случившемся. Это первое свидание она подробно описывает, рассказывая не столько о себе, о своих переживаниях, сколько о нем, что́ он говорил и что́ делал, когда узнал об этой роковой любви ее. Себя, свою роль тщательно затушевывает, тем ярче выступает роль Достоевского. И то, что она здесь крайне обеднила свое психологическое содержание, не утрирует своих переживаний, не становится ни в какие позы, — делает эту сцену особенно убедительной. Позднее, повидимому, она пыталась ее использовать для рассказа, здесь впервые печатающегося: „Чужая и свой".

Попытку первой художественной стилизации находим уже здесь, на страницах Дневника, в виде поправок на полях карандашом и разными чернилами. Читатель сравнит первую передачу встречи с Достоевским с более подробным ее изложением в рассказе; увидит он, как художественное претворение отходит от первоначальной редакции, главным образом, в плоскости ремарок, усиливающих жестикуляцию героя и драматизм сцены целым рядом подчеркнутых эффектов сантиментально-романтического характера. Суслова бессильна изменить что-нибудь в основе; остов остается, без особого труда изымается он из художественной оболочки определенного штампа ее писательского стиля.

В этом смысле, поскольку Суслова строит свои рассказы по лично пережитому, и художественные средства ее простираются преимущественно на усиление эмоционального тона, почти не затрагивая мотивов сюжетного характера; — ее художественная интерпретация: „Чужая и свой" для нас особенно ценна. В ней она была менее связана, в о в р е м е н и, фактической правдой, — тем что происходило только в этот момент первой парижской встречи; и сумела ввести несколько новых мо-

тивов, тоже отнюдь не сочиненных художественно, а реально пережитых. Мотивы из прошлого, более далекого, и — недавнего прошлого, ближе к окончательному разрыву с Достоевским, когда оценка первого петербургского периода уже приняла свои последние суровые очертания. Здесь прежде всего важен образ героини, ее собственный образ, воспроизведенный достаточно полно и правильно. Запоминается особенно автохарактеристика: „Ее собственные мнения были несколько резки, она не отличалась умеренностью ни в похвале, ни в осуждении". И черта эта ставится в связь с ее глубокой верой в человека дающей ей право пред'являть к нему свои очень большие требования. Повторяем сказанное в начале очерка: так воспринимал ее и Достоевский, и в этом он видел глубочайшую и драгоценнейшую основу ее характера; быть может, не сейчас и не через два года, когда переживания его, в связи с нею, были особенно остры и болезненны, — а потом, когда они уже разошлись, душою, в сущности, никогда не разошедшись: уже после женитьбы на Анне Григорьевне. Было у Анны Григорьевны не мало оснований, чтобы ревновать его к Сусловой и не только к их прошлому; в ее дневнике есть об этом жгучие строки.

Сюда же относим и то, как героиня рассказа „Чужая и свой", словами: „хорошо ты этим воспользовался", мысленно прерывает длиннейшую реплику героя о том, что слишком много она значила для него, что под влиянием так близко подошедшего к нему молодого прекрасного существа в нем воскресла вера и „остаток прежних сил". Подобную реплику Суслова, по всей вероятности, ни один раз слышала от Достоевского в первый петербургский период и тоже, быть может, выражала мысленно, про себя, свою тяжелую затаенную обиду словами: „хорошо ты этим воспользовался". Недаром так упорно постоянен этот мотив в Дневнике, неизменно появляется каждый раз, когда она обращается к начальной поре своей самостоятельной жизни и к роли в этой жизни Достоевского.

Прошлое держит в своих тисках настоящее и будущее обоих. Но сейчас, при первом свидании, Достоевский почувствовал к ней острую жалость. Чтобы рассеять ее тоску, предложил поехать вместе в Италию, и он будет ей „как брат". Как в

истории с первой женой, снова берет на себя роль **третьего**: утешителя и друга, так преданно отзывающегося любимому человеку в самые тяжелые минуты его жизни. Герой „Подполья“, чтобы тем сильнее казнить себя, выставляет напоказ всю свою мерзость; тяжелее всего воспринимается его поступок с падшей, к которой он тоже вначале приходит как спаситель. На этот раз на долго ли оставалась бескорыстной роль утешителя и друга? Был ли он „**как брат**“? Быть может, только в первые дни, в минуту первого порыва жалости и сострадания. С того самого момента, как Суслова, хотя бы и на малое время, взята им из омута парижской жизни, отдалена от непосредственных чар второй ее любви, еще более чувственной и грешной, — испытание, ниспосланное ему судьбою, делается еще ответственнее. На тончайшем острие колебалась в эту минуту душа Сусловой, дважды испытавшей жгучие укусы страстей. Стало одинаково возможным: либо падение, как она потом сама выражалась, в тину засасывающей пошлости, и дальше — омерзение к себе и отчаяние, которое действительно вскоре пришло и чуть не окончилось самоубийством; либо осияет и спасет ее близкий, человек в ореоле, истинно до конца великодушный. Требовалась со стороны Достоевского высшая жертва. Как женщина, Суслова стала теперь вдвойне соблазнительна. И тоже на тончайшем острие, в соответствии с нею, должна была колебаться и его душа. Был также одинаково близок подвиг или еще большее падение. Эти колебания вряд ли ясно им сознавались уже тогда или в ближайшие дни. Процесс совершался где-то в глубине, сознательно переживался вновь позднее, в отражении; охваченный страстью, Достоевский вначале не ощущал его. Но тем острее должны были быть потом его переживания, еще глубже трагедия духа, когда затихала страсть, и он мучился от того, что был он далеко не „как брат“, оказался ниже ее доверия.

Не поднялся Достоевский и на этот раз выше **петербургского** периода. Записки из „Подполья“ мучительно остро вскрывают именно эти его переживания, эти тревоги его духа. Они были зачаты, быть может, в это самое время, написаны во всяком случае сейчас же непосредственно после путешествия с Сусловой. И мыслятся эти два произведения:

„Подполье“ и „Игрок“ в такой временной последовательности. Был задуман сначала „Игрок“ в плоскости душевного; здесь внимание сосредоточено на сцеплении внешних событий и на развертывающейся страсти. Алексей Иванович, играющий в романе, по отношению к Полине (Аполлинарии), роль Достоевского, так говорит: „Во все последнее время мне как-то ужасно противно было прикидывать поступки и мысли мои к какой бы то ни было нравственной мерке. Другое управляло мной“. Но потребность катарзиса, в плоскости духа, оттеснила этот замысел, и выдвинулось на его место „Подполье“. Нет необходимости настаивать на сознательном воспроизведении своего личного сюжета; важно то, что они были, эти переживиния, и источником для них, в сфере психической, является безусловно этот второй момент, заграничный, в его истории с Сусловой.

3 или 4 сентября по новому стилю они выехали вместе в Италию. Суслова покидает Париж с чувством томительной грусти (запись в дневнике от 5 сентября. Баден-Баден). Она невольно вспоминает о том душевном состоянии, в котором она уезжала из Петербурга. Тогда была радость, избавилась от тяжелого кошмара, и вновь воскресали светлые надежды и мечты о новой и свободной жизни. И вот, чем все это завершилось: „Мне кажется, я никого никогда не полюблю“. Приводится цитата из Лермонтова, о котором она говорила по дороге с Достоевским: „И ничего на этом свете благословить он не хотел“... Да, он был прав. Жизнь и ей кажется „ничтожной и глупой шуткой“. Тем контрастнее воспринимается настроение Достоевского. Он полон сил, жизнерадостен, снова чувствует себя помолодевшим, его взволнованное состояние проявляется во взрывах неистощимой веселости, в юношеской беспечности. (Мы сейчас увидим, как быстро это настроение обрывается.)

Так начинается краткая полоса их совместного итальянского путешествия. Она продолжалась не более двух месяцев и сыграла в их отношениях решающую роль. И теперь Суслова встает перед нами в несколько уже новом облике противоречивых черт своего характера. Казалась нам до сих пор стремительной в своих поступках, прямолинейно-гордой, особен-

но чутко и ревниво относящейся к чувству человеческого достоинства, к чувству чести. В ней сочетание наивной мечтательности с позитивной трезвостью эпохи, идеала чистоты и внутреннего целомудрия — со способностью отдаваться во власть чувственных темных страстей. При всей своей активности, она все же рисовалась нам скорее жертвой, тратившей силы своей недюжинной натуры на примирение неодолимых противоречий между идеалом и действительностью. И вот улавливаем в ней новую черту: как и Достоевский, она тоже умеет мучить не только себя, но и другого с той же утонченностью, у последнего предела ею же пробужденной страсти. Сказывается эта черта, в сущности, уже в самом согласии ее на совместную поездку в Италию, еще ярче — во время путешествия. Пусть в первые дни, в состоянии отчаяния, верила в его „братское" бескорыстие — хотелось верить,— но потом, вскоре, когда мысленно себе рисовала это совместное путешествие, и воскресало в ее памяти пережитое с ним в Петербурге, то должно же было предстать пред ней положение во всей своей сложности. И, однако, согласилась поехать, взяла на себя ответственность за те мучения, которым он подвергался целых полтора месяца. В той ситуации, в которой развертываются дальнейшие события, — когда она, любя другого, молодого и красивого, им покинутая и все еще продолжающая его любить, позволяет Достоевскому подходить к ней очень близко, но полнотою чувства ему не отвечает, — в этой ситуации, к мукам его неутоленной страсти и ревности должно было еще присоединиться чувство оскорбленного мужского самолюбия. Нечто вроде презрения должен был ощущать с ее стороны, и это было самое невыносимое. Что же это с ее стороны? Утонченная месть за прошлое? И только?

В „Игроке" Алексей Иванович, alter ego Достоевского, говорит о сложности своего чувства к Полине: „И еще раз теперь я задал себе вопрос: люблю ли я ее? И еще раз не сумел на него ответить, т.-е., лучше сказать, опять, в сотый раз ответил себе, что я ее ненавижу. Да, она была мне ненавистна. Бывали минуты (а именно, каждый раз при конце наших разговоров), что я отдал бы полжизни, чтобы задушить ее... А между тем, клянусь всем, что есть святого, если бы .. она, действительно, сказала мне: „бросьтесь вниз" (с вершины лю-

бой горы), то я бы тотчас же бросился и даже с наслаждением". И дальше — так рисуется ее к нему отношение: „Мысль о том, что я вполне верно и отчетливо сознаю всю ее недоступность для меня, всю невозможность исполнения моих фантазий,— эта мысль, я уверен, доставляет ей чрезвычайное наслаждение, иначе могла ли бы она, осторожная и умная, быть со мной в таких короткостях и откровенностях?" Это чувство презрения со стороны Полины Александровны подчеркивается в „Игроке" не один раз, и ощущается оно именно в этом позволении „говорить ей беспрепятственно и бесцензурно о своей любви". В художественном оформлении, почти в той же сюжетной ситуации, воспроизводится Достоевским то сложное сплетение чувств, которые кипели в нем в эту пору, в первые дни итальянского путешествия,— ответно отношениям к нему Сусловой. Возбужденность его душевного состояния поднималась до высшего напряжения, она этому способствовала, сама ее вызывала, а чувство оставалось не разрешенным.

Так, значительной в высшей степени является запись в Дневнике от 6 сентября, Баден-Баден. Запись начинается несколько издалека: „Доро́гой он сказал мне, что имеет надежду, хотя прежде утверждал, что нет. На это я ему ничего не сказала, но знала, что этого не будет. Ему понравилось, что я так решительно оставила Париж. Он этого не ожидал. Но на этом еще нельзя основывать надежды—напротив". Это „напротив" очень характерно. Потому и согласилась так скоро поехать с ним в путешествие, что чувствовала себя спокойной, его присутствие ни в малой мере не пугало ее. „Знала, что этого не будет". А Достоевский? Только ли в дороге появилась у него надежда? Передается первая жуткая ночная сцена, в которой, при всей безыскусственной однотонности речи Дневника, ясно слышится напряженное борение с охватившей его страстью, особенно запоминается первый прилив страсти, когда, взволнованный, внезапно встает, едва сдерживая желание поцеловать у нее ногу. С исключительной остротой подчеркивается в „Игроке" „следок ноги ее (Полины), узенький и длинный — мучительный, именно мучительный". И дальше из разговора, уже на завтра после ночной сцены, из слов Достоевского, здесь же приводимых, так же ясно воспринимается, как она ощущает

свое превосходство, власть безграничную над ним, как и Полина в „Игроке“ — над Алексеем Ивановичем. „Он сказал, что у меня была очень коварная улыбка, что он верно казался мне глуп, что он сам сознал свою глупость, но она бессознательна“.

Их душевные переживания подвергаются дальше большим колебаниям. Вскоре наступают дни, сравнительно тихие, умиротворенные; улеглись на время страсти, и засиял лик истинно человеческий. Тогда, точно лучи солнца, пробирающегося среди темных облаков в кусок ясной лазури, обнаруживается и другая основа их отношений. Была не одна только страсть, слепая, воспаленная — с его стороны, и не одно, со стороны Сусловой, наслаждение своим превосходством, своей властью, с оттенком мучительства, но и настоящая духовная близость, глубокое чувство сострадания и жалости друг к другу. Так, среди набросков записей, в которых мелькают, лениво отражаясь, легкие быстротекущие впечатления в пути,—выделяется одна значительная запись (От 17 сентября, Турин), действительно бросающая этот новый, тихий и радостный свет душевного покоя и умиротворения. Суслову охватывает сознание своей вины; у нее нежность и ласка родного, близкого человека. И он ответно — уже „как брат“. И мысль его, освобожденная от тягостных переживаний прошедших дней, снова выходит, хотя бы на короткий момент, за узкие пределы личного „я“. Он смотрит на девочку, которая брала уроки, и говорит: „Ну, вот, представь себе — такая девочка со стариком и вдруг какой-нибудь Наполеон (приказывает): „Истребить весь город“. Всегда так было на свете“. Видится доподлинный Достоевский таким, каким мы его знаем по его художественным творениям, с этими обычными трагическими сопоставлениями: Носитель рока, Наполеон, и рядом малое, невинное дитя.

Но вот снова наступает бунт страстей. „Рыцарь бледный“ опять превращается в настойчивого и жестокого „Алексея Ивановича“, преследующего жертву свою; слова стали более обнаженными, изменился резко тон, сделался откровенным до цинизма. Измученный, неудовлетворенный, он, очевидно, уже окончательно убедился, что вся надежда его на Италию не оправдалась. Такова ночная сцена, воспроизведенная в записи Дневника от 29 сентября, Рим. Сцена груба и цинична и в то же

время проникнута его глубокой печалью, чувством безнадежности. Среди бурного, ничем уже не сдерживаемого чувства ревности прорывается вдруг жалоба: „Не хорошо мне. Я осматриваю все, как будто по обязанности, как будто учу урок". Оскорбленное мужское самолюбие, мужская гордость, сделала его на минуту искусственно веселым и развязным, но тут же он сам сознается, что эта „веселость досадная"; а она видит это и понимает, какая боль скрывается за его „грубостями" и „циничностями". Мы имеем здесь, в передаче Сусловой, второй и самый высший момент личной драмы Достоевского. Быть может, никогда раньше она не переживалась им так остро и напряженно, как именно в этот последний месяц. По мере приближения путешествия к концу, драма все более и более нарастала, и вот теперь он ясно увидал, что прошлое, петербургский период, остался далеко позади, ему уж никогда не повториться.

Обольстительностью романтической тайны окутывает Достоевский облик Полины Александровны из „Игрока": она проходит как-то чистой, незапятнанной среди той грязи, которая окружала ее, в которую, было, сама добровольно окунулась. В сюжетной ситуации ее путь, в сущности, тот же, что и m-lle Blanche; в прошлом — француз де-Грие, в будущем, тоже без любви,— англичанин, мистер Астлей. Истинная любовь у нее к одному только Алексею Ивановичу, — любовь в соединении с глубочайшей ненавистью и отвращением за ту ночь, когда она „пришла к нему вся",— бросает этот таинственный свет на ее гордую фигуру. Не так ли воспринимал Достоевский и Суслову? Не только позже, когда воспроизводил ее сложную натуру в художественной памяти своей, — в 1866 г., когда писал „Игрока", — но и во время самого путешествия, вот сейчас, мстя ей грубо-цинично за „ее недоступность и всю невозможность исполнения его фантазий". В конце 1865 г., накануне окончательного разрыва, когда Суслова была уже в Петербурге, виделась часто с Достоевским — он тогда „предлагал ей руку и сердце и только сердил этим" — приводится в ее Дневнике такая фраза, им произнесенная: „Ты не можешь мне простить, что раз отдалась, и мстишь за это".

Плоской, лакейски-грубой шуткой закончил Достоевский

эту ночную сцену 29 сентября: „Мне унизительно так тебя оставлять... Ибо россияне никогда не отступали“... Но в памяти остается острота его очень грустных слов: „не хорошо мне... я на все смотрю, как будто по обязанности, как будто учу урок».

Сентябрь месяц был самым бурным в их путешествии; дальше наступает видимое успокоение и, очевидно, уже больше не нарушалось. В Дневнике опять идут мелкие наброски небольших жанровых картинок, несколько случайных встреч с случайными людьми, упоминание о ссорах с Достоевским но уже идейного характера (одна ссора „из-за эмансипации женщин“) и т. д. Выделить нужно, пожалуй, только одно событие, к сожалению тоже переданное очень кратко: это неожиданное свидание с Герценом и его семьей „на корабле, в самом Неаполе“. Свидание было, повидимому, весьма дружеское. Достоевский провожал Герценов, они сошли в Ливорно, и был у них в гостинице. Из приложенных здесь писем Достоевского к Сусловой видно, что в это время он особенно дорожил вниманием, Герцена.

На этой встрече с Герценом, которая обоих воодушевила, кончается последняя запись в Дневнике о путешествии по Италии. На обратном пути они доехали вместе до Берлина. Прожив там двое суток, Суслова вернулась в Париж, а Достоевский направился в Россию: не прямо, а через Гамбург. Алексей Иванович из „Игрока“, после всех своих приключений в Бадене, потеряв уже навсегда Полину Александровну, тоже отправляется в Гамбург, пробует счастье, ставя на рулетку последний гульден. Так и Достоевский. В записи от 27 октября Суслова пишет, что „вчера получила письмо Ф[едора] М[ихайловича], — он проигрался и просит прислать ему денег. Я решилась заложить часы и цепочку“. Она достала триста франков и немедленно послала ему. Так, одному из „предрассудков“ отвергнутого ею (в одной из записей Дневника) „катехиза“ она невольно отдала свою дань, оплатив сейчас же расходы свои во время путешествия.

Обрываются надолго, больше чем на год, непосредственные их отношения. Продолжалась переписка, порою, очень

оживленная; переписывались не только до самой женитьбы Достоевского на Анне Григорьевне Сниткиной, но и после. Были за это время и попытки к новому сближению, кажется от него исходившие. Нужно думать, что из переписки она многое знала из дальнейших событий его жизни. В Дневнике, однако, все это почти не находит отражения. Да и самое имя Достоевского мелькает отныне все реже и реже: так резко расходятся их жизненные пути; ее внимание поглощено иной сферой интересов, новыми встречами и новыми связями. Но осталась неизгладимой печать, наложенная на нее Достоевским; пережитое в связи с ним определило в большой степени характер последующей ее жизни.

Она вернулась в город суеты и соблазнов, очутилась в прежней обстановке, и снова придвинулась парижская полоса, вызывая то же прежнее сложное чувство к „законченному европейцу": любви, горечи, незабываемой обиды, быть может, и жажды мщения, и оно, это чувство, целиком ее захватило и покорило себе. И оттого, что так поглощена своими личными переживаниями, она кажется особенно одинокой в этом огромном мире чуждых ей людей и интересов. И это сразу и надолго определяет ее отношение к Парижу: он представляется ей „решительно отвратительным". В первый раз прозвучал здесь (в записи от 22 октября) мотив отвращения к чужой и чуждой культуре, и будет он все сильнее и сильнее звучать в дальнейших ее записях вместе с часто возвращающимися к ней воспоминаниями об этом „европейце": точно через призму своих отношений к нему она отныне и надолго воспринимает все окружающее. А вспоминает Суслова о нем часто, и неизменно все в той же сфере безнадежной любви и горького разочарованья. Так смотрит она на пестрый, волнующийся вокруг чуждый ей мир из глубины своего одиночества и все усиливающейся тоски неудовлетворенного сердца. В словах, взятых у Достоевского („Зимние заметки о летних воспоминаниях"), еще вероятнее — у Герцена („С того берега"), находит она лучшую формулировку собственным мыслям, своей личной оценке. За внешним, ослепительно блестящим покровом западно-европейской жизни и тех идей, которые выросли на ее почве, ей тоже видится, как и им, нравственный распад и погружение в ме-

щанство; гибель физическая и духовная. „Я скажу в качестве варвара, как некогда знаменитый варвар сказал о Риме: „этот народ погибнет". Лучшие умы Европы думают так: здесь все продается, все: совесть, красота; продажность сказывается во всем: в позах, в выточенных словах, в костюмах, в походке" (запись от 12 декабря). И дальше: „Какая суетность. Я теперь одна и смотрю на мир как-то со стороны, и чем больше я в него вглядываюсь, тем мне становится тошнее. Что они делают, из-за чего хлопочут, о чем пишут? Вот тут у меня книжечка, шесть изданий и вышло в шесть месяцев.. Восхищаются тем, что в Америке булочник может получить несколько десятков тысяч в год, что там девушку можно выдать без приданого, 16-летний сын в состоянии себя прокормить. Вот их надежды, вот их идеал. Я бы их всех растерзала». (Запись от 17 февраля 1864 г.)

Суслова отвергает этот окружающий мир с его мелкими, ничтожными интересами и бескрылыми идеалами. А когда думает о себе, о тех узах, которые невольно связывают ее с Парижем, то испытывает страх за себя и за свое будущее. В кипении пустом тратятся теперь ее силы, и в сущности ей глубоко безразлично, где жить и чем заполнять бесконечно долгие часы бесцельных дней. Она—одна из тех, у кого нет определенного места и цели, а такие не могут оторваться от этого города, „для них он действительно имеет что-то". Так пишет она в Дневнике от 2 апреля 64 г., и в той же записи следующие очень грустные строки: „Назойливая тоска не оставляет меня в покое. Страшно давящее чувство овладевает мной, когда я смотрю с Бельведера на город. Мысль потеряться в этой толпе наводит какой-то ужас".

Видим здесь сложнейший узел запутанных, своих и заимствованных, мыслей и чувств, которые она не в состоянии собрать воедино; ослабела прежняя воля, не стало сил, чтобы сделать какой-нибудь решительный шаг. Исчезли какие-то основы жизни, самые нужные — это первая ступень духовного падения. Ей предстояло до конца пройти этот круг, путем новых и новых испытаний докатиться до той последней грани, за которой либо окончательная гибель, либо... возрождение. В данный момент она решает, что нужно идти по линии наимень-

шего сопротивления. Начинается с того, что у нее появляется жадность на новые лица и впечатления. Мелькают изредка, среди знакомых и временно близких, люди покрупнее, у них она иногда ищет и находит поддержку: в среде эмигрантов, с некоторыми сойдясь довольно близко, снова вспоминает на время свои былые, еще из Петербурга, общественно-политические интересы. Но это меньше всего тама ее жизни. Вот записи Дневника, узко личные, создают постепенно другой фон; на этом фоне — и чем дальше, тем это яснее, а по истечении первого года после итальянского путешествия среди ее знакомых большинством оказываются герои данного момента, поскольку можно хоть на миг испытать с ними, с каждым из них, некую иллюзию полноты и цельности переживаний. И после каждой легкой вспышки чувства, похожего на страсть, душа испытывает еще большую неудовлетворенность, и мысль о самоубийстве становится привычной.

Такова, в общих чертах, внутренняя жизнь Сусловой в этот второй парижский период, сменивший недолгий итальянский период с Достоевским. И соответственно развертывается и внешняя ее история. Выделить особо можно, пожалуй, встречу с двумя писательницами: одна старая, уже начинавшая терять свою былую популярность — графиня Салиас (Евгения Тур), другая — только-что стала известной, благодаря усиленному покровительству Тургенева: Марко Вовчок (Маркович). Знакомство с Маркович (в начале апреля 1864 г.) ограничилось всего несколькими встречами; в Дневнике ее имя попадается в апрельских и майских записях, позднее — еще раз - другой и потом исчезает. Здесь не было равенства. В упоении своей начинающейся славой, Вовчок явно выказывала высокомерие: снисходительно похваливала рассказы Сусловой, когда та читала их у нее на дому; всячески, вольно и невольно, подчеркивала свое „величие". Но с Салиас отношения сложились иначе. С первой же встречи они почувствовали друг к другу большое расположение, которое превратилось очень скоро в дружбу, длившуюся до самой смерти Салиас. Помимо записей в Дневнике, об этом свидетельствует еще и переписка с ней охватывающая не только весь период заграничной жизни Сусловой, но продолжавшаяся и дальше, уже по возвращении ее в Россию

в течении нескольких десятков лет. И видим мы по этой переписке, как они были между собою откровенны. Салиас знала всю ее внутреннюю жизнь, раскрывала перед нею и свою, с материнской чуткостью относилась к ее горестным переживаниям, нередко пытаясь воздействовать словом, согретым истинной любовью.

В доме Салиас Суслова и столкнулась с этой новой эмигрантской средой, молодой и деятельной: с Утиным, Лугининым, Николадзе, с сыном Салиас—Вадимом и др. Встречалась с ними довольно часто, некоторых зная близко еще по Петербургу. Казалось бы: вот они, стойкие и смелые, борцы за те идеи, которые сама исповедывала в начале своего жизненного пути. В поисках дела, которое целиком бы ее захватило, она могла бы стать теперь, пусть на время, политической деятельницей. Но органически чужды были ей крайние воззрения этой молодежи в ту пору; она говорит о них в своем Дневнике часто с насмешливой иронией. В розни отцов и детей, которая, надо полагать, нередко ощущалась в доме Салиас, Суслова вряд ли была целиком на стороне детей. Сама—ярко выраженная личность, она больше всего дорожила свободой и самобытностью человека — тем, что делает его индивидуальностью. Оттого и передает она так возмущенно слова Лугинина, что „с большим бы удовольствием послужил Франции или Англии, но остается в России потому, что знает русские обычаи и русский язык, но с русскими ничего общего не имеет: ни с мужиком, ни с купцом, не верит его верованиям, не уважает его принципов“... Подобным взглядам Суслова резко противопоставляет свою горячую любовь к родине, в частности к мужику; все детство провела в деревне, нутром своим знает мужика; мужицкая кровь течет в ее жилах, и она этим гордится. Так обнаружилось вскоре коренное расхождение между нею и молодежью, и это еще больше углубило чувство ее одиночества. Дальнейшие ее записи сосредоточены на тех же прежних ее переживаниях.

От прошлого остались одни лишь „оскорбления и страдания“ — таков печальный итог пройденной полосы ее жизни. Итог не полный: одну часть его, и самую страшную, Суслова выражает словами очень редко и скупо, но вся ближайшая ее

жизнь, в течение нескольких месяцев — осень 1864, зима 1865 г.—свидетельствуют об этой части итога с достаточной яркостью; это то, что мы выше определили как духовное падение, и в чем она больше всего винит Достоевского. Падение сказывается прежде всего в катастрофическом понижении всего диапазона ее душевных переживаний, ставших вдруг какими-то маленькими и мелочными, — в этой явно ощутимой пошлости, которая проявляется теперь в ее отношениях к окружающим ее людям.

Зимою прошлого 1864 года, при всей сосредоточенности ее на сугубо-личном, на переживаниях в связи с дважды неудачной любовью, она все же жизнь свою разнообразила, как умела, посещала лекции, ходила заниматься в библиотеку, обнаруживала порою милый и легкий юмор: в беседах ли с окружающими людьми, в зарисованных ею жанровых картинах; нередко и охотно пользовалась своим художественным зрением, отмечая характерное в данном факте или жизненной сценке — ее смешную или печальную сторону. Все это теперь как будто исчезает. Она ищет только одного: как бы рассеяться, забыться хотя бы на мгновение, именно чтобы ее заняло что-нибудь, в сущности даже безразлично — что.

„Новое может меня занять, и то до известных пределов" — так заканчивается запись от 24 сентября. И на поиски этого нового, скоропреходящего, — пусть оно легкой рябью бороздит поверхность ее души, — тратит Суслова остаток своих сил, порою чувственностью подменяя, некогда ею изведанное, чувство любви. И мелькают в ее Дневнике, точно серые сумеречные тени, лишенные яркости и глубины, эти слабо очерченные фигуры, герои романа на час, игру в любовь с которыми она подробно описывает, как бы вновь пытаясь пережить приятную раздраженность одним и тем же занятого воображения. С некоторыми пробует шире раздвинуть эти „известные пределы", тогда появляется иллюзия настоящей любви, и душа на мгновение точно оживает; но опыт выработал в ней способность к самоанализу и к иронии. Поэтому тем быстрее наступает отрезвление и уже остается после него не только горечь, но и мутный осадок плотно прилипшей грязи, которую сама же допустила.

Эти герои большей частью безымянные,— в той плоскости в которой она ими интересуется, они ведь так похожи друг на друга, затушеванные под своей национальностью (валлах, грузин, англичанин, француз) или под профессией (лейб-медик); она попеременно дарит свое внимание каждому из них, иногда кому-нибудь — особенно подчеркнуто, чтобы тем самым вызвать усиленный интерес у другого, если можно: нечто вроде ревности. „Валлах простой, наивный. Это новизна"... „Мы долго говорили, а когда пошел домой, он крепко жал мою руку". Или: „Я сказала лейб-медику, что взволнована одной встречей. Он этому придал большую важность и был грустен... Прощаясь со мной, он по нескольку раз принимался жать мою руку... уходя оборачивался в дверях, чтобы еще раз взглянуть на меня" и т. п., и т. п. Отношения к лейб-медику с самого начала развертываются сложнее. Ее увлекает его наступательная активность, игра начинает казаться занимательной, тем более, что сопровождается небольшими ссорами и примирениями, которые еще больше сближают их. Но тут же — в перерыве— целый эпизод с некиим Робескуром, жившим в одной с ней гостинице. И дальше еще целый ряд лиц: какой-то русский доктор, „которого принуждена была выпроводить за слишком сальное с ней обращение", какой-то англичанин, опять валлах и лейб-медик... „Утин крепко жал руку и не выпускал",.. „Был Вадим и долго говорил о любви"... Подчеркивается чуть ли не каждое крепкое пожатие мужской руки, каждое слово, сказанное так, что можно за ним усмотреть другой, потаенный, потому тем более соблазнительный, смысл. Так проходит в томительнейшем однообразии большая часть ее Дневника, сосредоточенного преимущественно на этой одной теме. Блеснет изредка старое: какое-нибудь меткое наблюдение над людскими нравами, едкая насмешка над человеческой тупостью и лицемерием; подхватит и передаст наиболее характерное у собеседника или — очень точно — большой и серьезный политический диалог (революционера Утина с конституционалистом Усовым, поклонником английской государственности), не пощадит порою смешные стороны даже друзей (графини Салиас). Но все это лишь отдельные пятна на главном и основном сером фоне записей за последние месяцы. В Дневнике это самые тяжелые

страницы, от которых порою остается гнетущее впечатление, точно присутствуешь при начавшемся уже разложении некогда столь сложной души. Все глубже и глубже затягивала ее тина пошлости, и она сама сознавала свое медленное, но неуклонное измельчание и мучилась тем более, что все слабее и слабее чувствовала в себе те силы, которые могли бы разом вырвать ее оттуда, из этой тины пошлости.

„Я чувствую, что мельчаю, погружаюсь в какую-то тину нечистую и не чувствую энтузиазма, который бы из нее вырвал, спасительного негодования" (из записи от 14 декабря 1864 г.). И опять, как и во всех других случаях, когда волна отчаяния доходит до своего предела, в памяти ее сейчас же всплывает образ Достоевского, все тот же ранний петербургский период. „Когда я вспоминаю, что̀ была я два года назад, я начинаю ненавидеть Д[остоевского]. Он первый убил во мне веру". Никогда еще не указывала она так ясно на первопричину своего духовного падения, как в этот раз, когда почувствовала себя униженной этой „тиной нечистой": в своих собственных глазах.

„Я хочу вытряхнуть эту печаль"—так заканчивает она эту последнюю запись. Но как? Каким из двух путей? Путем ли трудного всхождения, медленным очищающим актом воли, направляемой идеалом „сияющей чистоты", или падением уже окончательным, подменой доподлинной человеческой гордости, источник которой в обаянии совершенства, цинической личиной последнего отрицания? В ее душе разыгрывается сложнейшая борьба. Уста открыто „произносят хулу"; ей кажется, вся беда в том, что у нее еще очень много „предрассудков", надо только освободиться от них, и жизнь станет простой и легкой. А между тем внутри, медленно, но неуклонно, начинается и идет поворот, быть может, ей самой еще неясный. „Предрассудки", к счастью, оказались гораздо сильнее, чем она думала. Все чаще и явственнее в потоке чувственности ощущаются ею какие-то остановки; своей волей усмиряет ее напряженность, в смутном чаянии возрождения и в предчувствии возможности его. Так возникает у нее мысль уехать в какой-нибудь маленький город, чтобы быть совсем одной, подальше от общественной лжи. И пусть осуществляет эту мысль свою не сейчас —

из Парижа она уезжает лишь в последних числах февраля 1865 года —ее настроение уже сейчас начинает казаться как бы ровнее, как бы отдаленнее от волнующих переживаний последнего полугодия.

Суслова выбрала Монпелье, думается, не без связи с тем, что там находилась в то время Тучкова-Огарева, с которой она познакомилась довольно коротко, благодаря графине Салиас; Герцен и Огарев уже давно были с Салиас в приятельских отношениях. Они встречались с нею у Левицкого, бывали у нее на званных обедах, изредка переписывались. В эту зиму, в конце ноября и в декабре, они должны были видеться особенно часто, когда у Тучковой дети болели скарлатиной, двое из них умерли в течение одной недели, а Лиза, третий ее и Герцена ребенок, была взята графиней. Тогда, по всей вероятности, Суслова познакомилась ближе и с Герценом.

Оттенок серьезного раздумия улавливается теперь в ее записях — в период пребывания в Монпелье. И что всего характернее — перед нею снова начинают носиться планы будущей жизни, и близкой кажется мысль о возвращении в Россию, чтобы поселиться где-нибудь в провинции и открыть школу для народа. Мысль вскоре приобретает реальные очертания. Из переписки с Огаревой (в середине марта Огарева уехала в Женеву) ясно видно, как сильно занимает Суслову эта будущая деятельность; она, повидимому, решила использовать ближайшее время для более серьезной к ней подготовки. И точно в глубь уходят ее былые переживания, утихает ненависть к своему прошлому, к Достоевскому; тогда, очевидно, снова выступает перед нею начало светлое в нем. Надо полагать: то на его зов откликается она своей поездкой к нему в Висбаден осенью 1865 года.

Мы приблизились к моменту возвращения Сусловой в Россию: в первых числах октября она была уже на родине. В Петербурге пробыла около четырех месяцев. В ее Дневнике за это время имеются всего две записи: от 2 и 6 ноября; они обе касаются Достоевского и видно по ним — отношения у них очень тяжелые. Это последние ее записи, на них Дневник обрывается и вместе с ним и наши прямые сведения, от нее исходящие, о дальнейшей судьбе ее в связи с Достоевским.

Что отношения не совсем прекратились, время от времени они продолжали во всяком случае переписываться, мы узнаем уже из другого источника, тоже дневника [1]): законной жены Достоевского, Анны Григорьевны. В нем несколько раз упоминается имя Сусловой, и, как уже было указано, жгучей ревностью проникнуты те строки, в которых рассказывается о фактах, питавших это чувство.

„...Я скоро узнала, что было мне нужно, — пишет Анна Григорьевна в дневнике от 27 апреля 1867 г., — и вернулась домой, чтобы прочитать письмо, которое я нашла в письменном столе Феди. Это письмо было от С[usловой]. Прочитав письмо, я так была взволнована, что просто не знала, что делать. Мне было холодно, я дрожала и даже плакала". Это, по всей вероятности, то письмо Сусловой, ответ на которое Достоевского был уже напечатан [2]). Отмечаем здесь еще раз, как глубоко еще его чувство к ней; невольно, а может быть и намеренно, вскрывается та истинная причина, по которой он решил пожертвовать „поэзией" — Сусловой — ради „прозы" — Анны Григорьевны: „О, милая, я не к дешевому необходимому счастью приглашаю тебя. Я уважаю тебя (и всегда уважал) за твою требовательность... ты людей считаешь или бесконечно сияющими, или тотчас же подлецами и пошляками". Повторяем: так определяет сам Достоевский ту схему колебаний, в которую, в известной степени, укладывались ее отношения и к нему.

Ответ Сусловой на это письмо, поскольку можно судить по дневнику А. Г., был, повидимому, очень определенен и резок; А. Г. получила его в отсутствии Достоевского. „Я торопливо пришла домой — страшно в душе волнуясь, достала ножик и осторожно распечатала письмо. Это было очень глупое и грубое письмо, не выказывающее особенного ума в этой особе. Потом я вынула чемодан и рассмотрела его письма, многие из них я уже читала прежде". [3])

Но вряд ли правильно охарактеризовала Анна Григорьевна письмо Сусловой. На Достоевского оно во всяком случае

---

[1]) Дневник А. Г. Достоевской, изд. „Новая Москва". 1923 г.

[2]) См. „Недра" № 2: письмо приложено здесь вместе с другими письмами Достоевского к Сусловой.

[3]) См. запись от 4/16 мая, стр. 48.

произвело впечатление чрезвычайно сильное, должно быть, всколыхнуло в нем всю сложную гамму его прежних чувств, столь глубоко и столь тесно связывавших с ней. В записи от 15 мая — А. Г. так рассказывает об этом: Достоевский только что вернулся из Гамбурга, они сидели за чаем и он „спросил, не было ли ему письма. Я ему подала письмо от нее. Он или действительно не знал, от кого письмо, или притворился незнающим, но только едва распечатал письмо, потом посмотрел на подпись и начал читать. Я все время следила за выражением его лица, когда он читал это знаменитое письмо. Он долго, долго перечитывал первую страницу, как бы не будучи в состоянии понять, что там было написано, потом, наконец, прочел и весь покраснел. Мне показалось, что у него дрожали руки. Я сделала вид, что не знаю, и спросила его, что пишет Сонечка. Он ответил, что письмо не от Сонечки, и как бы горько улыбался. Такой улыбки я еще никогда у него не видала. Это была улыбка презрения или жалости, право не знаю, но какая-то жалкая, потерянная улыбка. Потом он сделался ужасно как рассеян, едва понимал, о чем я говорю".

Вряд ли можно уловить здесь хоть тень презрения: „он весь покраснел", и „дрожали у него руки", и „улыбка горькая, жалкая, потерянная улыбка" ...Анна Григорьевна каждую запись обыкновенно кончает лирическим рефреном: ночным прощаньем, — этим „часом или получасом, составляющим самое задушевное и счастливое время нашего дня". В этот день этого счастливого часа не было.

От 29 мая — она снова записывает в дневнике, что было письмо от С. (Сусловой): его переслал вместе с другими письмами Паша из Петербурга.

В одном месте Анна Григорьевна приводит еще такую сцену: она собиралась итти на почту отправлять матери письмо; „уходя, когда он меня спросил, на какую я иду почту, я отвечала, что на эту, чтобы не беспокоился, что я не пойду на большую почту и не возьму его письмо, что этого не будет. Он ничего не отвечал, но когда я отошла, он быстро подошел ко мне, и, с дрожащим подбородком, начал мне говорить, что теперь он понял мои слова, что это какой-то намек, что

он сохраняет за собою право переписываться с кем угодно, что у него есть сношения, что я не смею ему мешать".

Дневник Анны Григорьевны обрывается на 24 августа, и мы не знаем, как долго продолжалась на этот раз переписка Достоевского с Сусловой. Быть может, удастся когда-нибудь найти еще следы этой длительнейшей и глубочайшей связи Достоевского с той, которую он называет — именно в этот период, после целого года разлуки, и уже после женитьбы на Анне Григорьевне — своим „другом вечным".

Нам осталось теперь досказать вкратце то, что нам известно о Сусловой, о дальнейшей ее жизни, из других источников.

В историко-революционном архиве хранится дело под таким заглавием: „Производство высочайше учрежденной в С.-Петербурге следств. комиссии о суд. следователе Лебедянского уезда Василие Прокофьеве Суслове и сестре его, дочери вознесенского купца — Аполлинарии Прокофьевне Сусловой". Начато 2 июня 1866 г., кончено 17 апреля 1869 г. В основу дела положены показания некоей Ал. Комаровой о том, что Вас. Суслов давал ей прокламацию № 2 „Свободы", а у Сусловой была большая пачка прокламаций „Великоросс". Комарова познакомилась с Сусловым на второй день Пасхи 1863 г., жил он тогда, по ее сведениям, с матерью и сестрой.

В феврале 1864 г. Василий Прокофьевич был переведен в Тамбовскую губернию следователем. В сентябре 1865 года за ним был установлен негласный надзор за принадлежность к партии нигилистов, а 2 июня 1866 г. послан был телеграфный приказ Муравьева: Суслова обыскать и бумаги переслать в Петербург. Про Суслову тамбовский губернатор сообщает, что она приехала из Петербурга в Тамбовскую губернию в марте 1866 г. и что ей 26 лет. Из „дела" же мы узнаем, что 4 июля того же года Суслова обратилась к лебедянскому исправнику с просьбой вернуть ей забранные при обыске рукописи, среди которых „имеются произведения, приготовленные для печати". Указывается адрес, по которому она просит их переслать: „Владимирская губ., Шуйского уезда, село Иваново".

Такова первая стадия дела о Сусловой. Она осталась на свободе, хотя из отобранных бумаг ее видно было, что за границей она находилась в „сношениях с лицами, враждебными правительству“: с Утиным, с Герценом, и что в письмах к ней были „ругательства на Россию“ за жестокую расправу с поляками во время польского восстания.

Дальше следует перерыв в два года. Мы знаем только, что в конце 1868 г. она сдала при Московском университете какой-то экзамен — очевидно на звание учительницы, и 12 декабря открыла в с. Иванове школу-пансион для приходящих девиц. Председатель следственной комиссии Ланской 2-й доводит об этом до сведения мин. нар. просв. Д. Толстого, предоставляя „дальнейшее решение на личное его усмотрение“. В то же время просит также и гр. Шувалова, шефа жандармов, не оставить ее своим вниманием; обвинения против нее такие: она нигилистка, была одно время распорядительницей в воскресной школе при Михайловской артиллерийской Академии и опять: сношения с эмигрантами. А дальше было так: министр нар. просв. Д. Толстой затребовал об'яснения от попечителя Моск. учебн. округа, тот от директора училищ Владимирской губернии, и в результате — о Сусловой было сообщено следующее: Суслова действительно — человек неблагонадежный; во-первых она носит синие очки, во-вторых, волосы у нее подстрижены. Кроме того, имеются слухи, что „в своих суждениях она слишком свободна и никогда не ходит в церковь“.

Школа просуществовала месяца два и была закрыта, удостоившись очень теплого некролога одного из местных жителей, описавшего яркими красками потерю, понесенную иваново-вознесенцами, и горе детей, оставшихся без школы. В некрологе было и негодование, и слезы, и жалоба на судьбу, и похвалы Сусловой, и горячее к ней сочувствие. См. Пет. Вед. от 29/III 1869 г.

И снова обрываются наши сведения о Сусловой до 1872 года, когда она на время появляется среди первых слушательниц только что открывшихся в Москве курсов Герье. Нам рассказывала о ней тоже одна из первых слушательниц на этих курсах — Е. Н. Щепкина. Щепкина помнит ее сидящей за тем столом, который облюбовали себе наиболее серьезные студентки, пришедшие на курсы не из-за моды, а с целью работать и учиться

То было новое поколение, с иными, уже общественными настроениями, вздымалась выше революционная волна, носилась в воздухе идея хождения в народ. Суслова была среди них чужой, человеком 60-х годов; она ни с кем не сблизилась; замкнутая, она, однако, импонировала им своей „серьезной сосредоточенностью“, особой печатью строгости; она казалась им несколько таинственной. По словам Е. Н. Щепкиной, Суслова не долго пробыла на курсах, и снова уехала к брату, может быть, в ту же Тамбовскую губернию.

Несколько менее скудны наши сведения о ней (о втором длительном петербургском периоде ее жизни) в связи с В. В. Розановым.

Розанов женился на Сусловой еще при жизни Достоевского в 1880 г., когда ей было 40 лет а ему 24. В его переписке с А. Г. Достоевской ей уделяется особенное внимание. Письма его писались через десять лет после разрыва, в момент очень тяжелый для новой его семьи, незаконной, страдавшей от своей „незаконности“ именно благодаря Сусловой. Было у Розанова достаточно причин, чтобы относиться к ней весьма враждебно. Если с точки зрения фактической правды в том, что он пишет Анне Григорьевне, мы пока еще не имеем достаточных оснований сомневаться до конца, то освещение он дает характеру и роли Сусловой в его жизни, безусловно, слишком суб‘ективное. Тем более, что здесь нужно еще считаться с тем, кому он обо всем этом пишет. Может быть, то чувство ревности, которое Анна Григорьевна когда-то питала, несовсем умолкло и после смерти Достоевского, и Розанов пишет ей так, как пишут человеку, в сочувствии которого заранее убеждены, поскольку у них как бы общие интересы, соприкасающиеся в единой плоскости переживаний.

Он говорит о Сусловой с большой горечью: это она исказила навсегда весь его характер и всю его деятельность, исковеркала семейную его жизнь; ему, безвинному, мстила тем, что в течение почти двух десятков лет ни под каким видом не соглашалась на развод, так что дети его от второй жены долго не могли носить его фамилии. Розанов соглашается с Анной Григорьевной, что Суслова „цинична“, свою совместную жизнь с нею он представляет как сплошную жертву, в течение шести

лет выносил он все „мучительно фантастические изломы“ ее невыносимого характера, пока, наконец, в 1886 г. не разыгралась одна из чудовищных по нелепости выходок Сусловой, и она его бросила.

Шесть лет они прожили вместе, шесть лет он страдал от нее. И вот как рассказывает о том, что он чувствовал и как мучился, когда она его покинула. „Я помню, — пишет он, — что когда Суслова от меня уехала, я плакал и месяца два не знал, что делать, куда деваться, куда каждый час времени девать“. „С женой жизнь так ежесекундно слита и так глубоко слита, что образуется при разлуке ужасное з и я н и е п у с т о т ы и искание забвенья вот на этот час — неминуемо“.

Вот как болезненно Розанов ощущал ее от‘езд, и не только в первые два месяца. В 1890 г., через четыре года после того, как она его покинула, он все еще отказывает ей в выдаче отдельного вида на жительство, все еще надеется, что она возвратится к нему. Он пробует все средства воздействия на нее: умоляет приехать к нему на новое место службы (в Елец), но получает в ответ „грубые и жестокие слова отказа“: „Тысяча людей находятся в вашем положении и не воют — люди не собаки“; обращается за помощью к отцу Сусловой, у которого она временно поселилась; тот бессилен, и, наконец, жалуется на нее жандармскому начальству.

Суслова к нему не вернулась. И вот только в 1897 г., когда у него было уже двое детей, Розанов согласился выдать ей отдельный вид на жительство. Что за странная таинственная сила была в этой натуре, если и второй, почти гениальный человек, так долго любил ее, эту раскольницу поморского согласия, так мучился своей любовью к ней? Повторяем, мы имеем все основания с самого начала относится несколько настороженно к характеристике, данной ей Розановым: факты, им же сообщенные, говорят против него. „Она исказила навсегда весь его характер и всю его деятельность“: — тогда ли, в те шесть лет, когда была его женой, или тем, что бросила его? И когда она стала для него „циничной“?

А Суслова, действительно, почему-то мстила ему долго, чуть ли не всю жизнь; считала себя в праве лишить его, поскольку это от нее зависело, семейного благополучия. В 1902 г.

к ней отправился в Севастополь друг Розанова просить ее, чтобы она согласилась дать развод. Тогда ей было уже 62 г.; она говорит о Розанове с крайней злобой и наотрез отказывается пойти на какие-бы то ни было уступки. И уж всего за несколько лет до смерти, в 1916 году, переменившая, — быть может, под влиянием своей сестры, Надежды Прокофьевны, и людей ее окружавших, — убеждения своей молодости, настроенная, во время империалистической войны, крайне патриотически, — тогда в статьях Розанова Суслова могла бы найти достаточно яркий и талантливый отклик своим взглядам, — но пишет она своему племяннику, молодому писателю Е. П. Иванову: „Стану я читать такого фальшивого, чиновного и продажного человека!..“

Как об'яснить эту непотухающую злобу? Какое освещение этой полосе ее жизни могли бы дать ее письма, если она кому-нибудь писала об этом втором петербургском периоде своей жизни с Розановым, и если бы эти письма могли быть когда-нибудь обнародованы!.. [1])

Фигура великого мученика и мучителя, Достоевского, бросает жуткий зловещий свет на начало жизненного пути Сус-

---

[1]) Статья эта была уже набрана, когда нам представился случай, благодаря любезности Е. П. Иванова, ознакомиться с новыми письмами Салиас к Сусловой, совершенно по иному освещающими причину ее разрыва с Розановым. Как видно из письма Салиас от 10 го августа 1868 года, уже тогда, вопрос о разводе стоял весьма остро, Суслова, очевидно спрашивала ее совета и Салиас, настаивая на согласии, приводит между прочим такие доводы: „Смотрите, чтобы этот муж, которого вы насильно желаете быть женой, не наделал вам бед. В его руках много для этого способов. Он может вас по этапу к себе вытребовать — и не прибегая к такому резкому способу действий, просто не дать вам паспорта и заставить вас сидет подле своей любовницы“. И в следующем письме от 17-го августа того же года, по старушечьи осуждая Суслову за ее бесцельные скитания по белу свету, за то, что все еще не успокоилась, не хочет и не может нигде основаться, Салиас снова возвращается к теме о Розанове: „Раздумайте, если желаете жить с мужем, покоритесь его ветренностям и неверностям — не можете, поселитесь с отцом и живите в его утешение“. Кто же из них прав, обвиняя друг друга в „неверностях“? Суслова или Розанов, себе на каждом шагу противоречащий, как в характеристике, которую он и дает ей в письмах к А. Г. Достоевской и к Волжскому так и в сообщаемых им фактах.

ловой. Это первый ее петербургский период; Розанов, в известной мере ему конгениальный (преимущественно в одной области, в области пола), освещает еще не конец, но уже сумерки этого пути. Но тем ли жутким, зловещим светом? Беспримерно огромной амплитуды колебаний Достоевского Розанов во всяком случае не знал, никогда не испытывал; сердце его, сердце человеческое в нем, тоже, конечно, было „полем битвы“: но на этом поле все же не „сатана с богом“ боролись, а силы несколько помельче.

В этом огне, последнем, было, быть может, не мало и копоти.

Узнаем ли мы когда-нибудь всю правду и об этом втором петербургском периоде жизни автора Дневника?

А. С. Долинин.

Текст Дневника, как и повести „Чужая и свой“, даем в окончательной редакции. Имея в виду широкого читателя, опускаем все зачеркнутые слова, не оговаривая их в примечаниях. Те записи, которые Суслова пыталась позднее использовать для своих художественных сюжетов, внося многочисленные исправления и вставки тут же на страницах Дневника (над и под строками и на обоих полях), — печатаем в первоначальной редакции, передающей факты и события так, как они непосредственно ею воспринимались. Снимается же в этих записях этот второй слой художественной стилизации большей частью без всякого труда, поскольку следы позднейшей ее работы художественного приспособления вполне явственны. (Поправки идут обыкновенно другими чернилами или карандашом и в стиле того художественного штампа, который мы знаем по ее печатным произведениям.) Эти записи следующие: от 27 августа вечером, от 29 сентября, от 14 февраля 1864 г.



ДНЕВНИК

19 **августа, среда.**

Была у Сальвадора. Он начал меня спрашивать, что я делала, думала ли о нем. Я сказала ему, что накануне припоминала стихи: „Выводи на дорогу“. Он просил меня сказать, что это за стихи. Я ему сказала смысл. Это ему понравилось. Он был вял сначала; я спросила, что он, верно, много работал. И угадала. Но несмотря на это, было еще что-то у него, хоть он и уверял меня, что это состояние обыкновенное у него. Он мне сказал, что имеет неприятные дела со своим зятем из-за денег. Этот зять что-то вроде опекуна, отца у Сальвадора, что ему придется ехать в А[мерику]. Хотя я этого и ожидала, но он меня поразил: чувства испуга и страдания, должно быть, ясно выразились на моем лице. Он поцеловал меня. Я закусила губы и сделала неимоверное усилие, чтобы не зарыдать. Он целовал меня и говорил, что, верно, поедет ненадолго, а, может быть, и навсегда,— прибавил он, когда я превозмогла себя и стала спокойна. „Но ты можешь поехать со мной,—сказал [он], и я поспешила его уверить, что очень могу, что отец мне позволит и даст средства. Он опять меня спрашивал, когда я буду учиться испанскому. Сейчас получила письмо от Ф[едора] М[ихайловича]. Он приедет через несколько дней. Я хотела видеть его, чтоб сказать все, но теперь решила писать.

19 **августа.**

„Ты едешь немножко поздно... Еще очень недавно я мечтала ехать с тобой в Италию и даже начала учиться итальянскому языку: — все изменилось в несколько дней. Ты как-то говорил, что я не скоро могу отдать свое сердце.— Я его отдала

в неделю по первому призыву, без борьбы, без уверенности, почти без надежды, что меня любят. Я была права, сердясь на тебя, когда ты начинал мной восхищаться. Не подумай, что я порицаю себя, но хочу только сказать, что ты меня не знал, да и я сама себя не знала. Прощай, милый!

Мне хотелось тебя видеть, но к чему это поведет? Мне очень хотелось говорить с тобой о России".

В эту минуту мне очень и очень грустно. Какой он великодушный, благородный! какой ум! какое сердце! Сальвадор в этот раз просил мой портрет и спрашивал, принимаю ли я его лекарство и лучше ли мне. „Bien vrai?"— спросил он, когда я сказала, что лучше. Он спрашивал еще, когда поеду я в Италию (прежде чем сказал о своем от'езде), так как я ему когда-то говорила об этом, когда мы были только друзья. Я ему сказала, что не знаю, когда. Может, вовсе не поеду, что я хотела поехать с человеком, которого любила.

Август, 23. Воскресенье.

Вчера была у Сальвадора. Он, кажется, на меня немножко рассердился за то, что я не осталась с ним завтракать и что была немножко грустна. Я смотрела на линии его рук и сказала, что он будет счастлив в одном отношении (я предполагала в браке). Он пристал спрашивать: в чем? Я сказала, что не могу сказать потому, что не хочу думать об этом, чтобы не быть печальной. Он ужасно приставал, но я не уступала. Потом заговорил о себе, что желает остаться в Париже года на четыре, а, может быть, и уедет в Америку. Во всем этом я видела, что он не имеет мысли обо мне, я склонилась к нему на грудь, слезы навернулись у меня на глазах. Он старался заглянуть мне в лицо и спрашивал, отчего [я] печальна и о чем думаю. Я сказала, что думаю о нем, и старалась быть покойной. Он спрашивал: что-же, именно, я думаю? Я отвечала, что не могу сказать.—„От меня-то ты имеешь секреты",—сказал он. Потом он предложил мне завтракать, я отказалась.— „Как хочешь",—сказал он. Кто-то постучался. Он сказал, что это его друг и опять предложил завтрак. Я отказалась и, когда друг входил в комнату, стала надевать шляпку. Сальвадор провожал меня в другую комнату и спрашивал, когда приду.—

Когда ты свободен? Если во вторник? — Приходи во вторник, если не можешь раньше. Он спрашивал меня, принимаю ли лекарство и заметил, что я не чищу зубы, что это дурно и что у меня хорошие зубы.

Мне показалось в этот раз, что он меня не любит, и у меня явилось сильное желание заставить его полюбить себя. Это возможно, только нужно действовать хладнокровнее. Я знаю его слабые черты: он очень тщеславен.

Прошлый раз при товарище он спросил заглавие моего романа, о котором прежде не говорил. Он меня спрашивал, что я делаю, и просил что-нибудь сказать по-итальянски. Сегодня я много думала и осталась почти довольна, что Сальвадор меня мало любит; я более свободна. У меня явилось желание видеть Европу и Америку, с'ездить в Лондон посоветоваться и после поступить в секту бегунов. Жизнь, которую я предполагала, не удовлетворит меня. Нужно жить полнее и шире.

> „Чего хочу?... О как желаний много!
> Как к выходу их силам нужен путь!
> Что кажется порой—их внутренней тревогой
> Сожжется мозг и разорвется грудь".

24 августа. Вторник.

Сегодня я была у С[альва]дора и не застала его дома. Целый час я его ждала и не дождалась... Много мыслей и чувств мелькало в моей голове, когда я сидела в его комнате, но я на них не останавливаюсь. Я сидела, опустив голову на руки и не сводя глаз с часовой стрелки, и сердце мое билось. А слезы невольно навертывались на глазах, я вздрагивала при каждом шорохе. Я хотела написать ему очень серьезное письмо, но удержалась, и пишу только:

„Я была сегодня в отеле Г. и не нашла тебя. Скажи, что это значит, и почему ты мне не написал, что ты не будешь дома, ты ведь знаешь, что твое отсутствие будет меня мучить. Я много думала о тебе и даже собиралась писать тебе несколько раз, но впрочем занималась много, и скоро буду искать себе учителя испанского языка; думаю, как это сделать.

Жду твоего письма. А. С.

Я очень огорчена, что не видела тебя; но я надеюсь, что ты не испытал удовольствия от этого. Я огорчена твоим отсутствием, но все же я уверяю себя, что ты меня любишь".

Я вспомнила, что последний раз я к чему-то сказала: „Не обманывай меня".—Я буду обманывать? — сказал он с достоинством. Это замечательная черта. Он однако же, кажется, на помочах у своих родных.

27, среда.

Сейчас получила письмо от Ф[едора] Мих[айловича] по город[ской] уже почте. Как он рад, что скоро меня увидит. Я ему послала очень коротенькое письмо, которое было заранее приготовлено. Жаль мне его очень.

Какие разнообразные мысли и чувства будут волновать его, когда пройдет первое впечатление горя! Боюсь только, как бы он, соскучившись меня дожидаться (письмо мое придет не скоро), не пришел ко мне сегодня, прежде получения моего письма. Я не выдержу равнодушно этого свидания. Хорошо, что я предупредила его, чтобы он прежде мне написал, иначе что б было. А Сальвадор, он не пишет мне до сих пор... Много принесет мне горя этот человек.

Того же числа вечером.

Так и случилось. Едва успела я написать предыдущие строки, как Ф[едор] М[ихайлович] явился. Я увидела его в окно, но дождалась, когда мне пришли сказать о его приезде, и то долго не решалась выйти. „Здравствуй", — сказала я ему дрожащим голосом. Он спрашивал, что со мной, и еще более усиливал мое волнение, вместе с которым развивалось его беспокойство. — „Я думала, что ты не приедешь,— сказала я — потому что написала тебе письмо.

— Какое письмо?

— Чтобы ты не приезжал.

— Отчего?

— Оттого, что поздно.

Он опустил голову.

— Я должен все знать, пойдем куда-нибудь и скажи мне, или я умру.

Я предложила ехать с ним к нему. Всю дорогу мы молчали. Я не смотрела на него. Он только по временам кричал кучеру отчаянным и нетерпеливым голосом „Vite, vite", при чем тот иногда оборачивался и смотрел с недоумением. Я старалась не смотреть на Ф[едора] М[ихайловича]. Он тоже не смотрел на меня, но всю дорогу держал мою руку и по временам сжимал ее и делал какие-то судорожные движения. — Успокойся, ведь я с тобой, — сказала я.

Когда мы вошли в его комнату, он упал к моим ногам и сжимая, обняв, с рыданием мои колени, громко зарыдал: „Я потерял тебя, я это знал!" Успокоившись, он начал спрашивать меня, что это за человек. „Может быть, он красавец, молод, говорун. Но никогда ты не найдешь другого сердца, как мое".

Я долго не хотела ему отвечать.

— Ты отдалась ему совершенно?

— Не спрашивай, это нехорошо, — сказала я.

— Поля, я не знаю, что хорошо и что дурно. Кто он: русский, француз, не мой доктор? Тот[1]?

— Нет, нет.

Я ему сказала, что очень люблю этого человека.

— Ты счастлива?

— Нет.

— Как же это? Любишь и не счастлива, да возможно ли это?

— Он меня не любит.

— Не любит! — вскричал он, схватившись за голову, в отчаянии. Но ты не любишь его, как раба, скажи мне, это мне нужно знать! Не правда ли, ты пойдешь с ним на край света?

— Нет, я... я уеду в деревню — сказала я, заливаясь слезами.

— О Поля, зачем же ты так несчастлива! Это должно было случиться, что ты полюбишь другого. Я это знал. Ведь ты по ошибке полюбила меня, потому что у тебя сердце широ-

---

[1]) Следует слово неразборчивое.

кое, ты ждала до 23 лет, ты единственная женщина, которая не требует никаких обязанностей, но чего это стоит: мужчина и женщина не одно и то же. Он берет, она дает.

Когда я сказала ему, что это за человек, он сказал, что в эту минуту испытал гадкое чувство: что ему стало легче, что это несерьезный человек, не Лермонтов. Мы много еще говорили о посторонних предметах. Он мне сказал, что счастлив тем, что узнал на свете такое существо, как я. Он просил меня оставаться в дружбе с ним и особенно писать, когда я особенно счастлива или несчастлива. Потом предлагал ехать в Италию, оставаясь как мой брат. Когда я ему сказала, что он, верно, будет писать свой роман, он сказал: „За кого ты меня принимаешь! Ты думаешь, что все пройдет без всякого впечатления“.—Я ему обещала притти на другой день. Мне стало легче, когда я с ним поговорила. Он понимает меня.

Я не дождалась письма Сальв[адора] и на всякий случай пишу ему такое письмо:

„Ты не был в отеле во вторник и ничего не писал мне об этом. Может быть, ты не получил моего письма; но во всяком случае ты мог бы мне написать. Или ты не знаешь, как я тебя люблю; люблю до безумия. Я начинаю думать, что у тебя какое-нибудь большое несчастье, и эта мысль мутит мне ум. Я не умею сказать, как я люблю тебя, и если бы ты знал это, то не заставил бы меня испытать такие страдания, какие я перенесла в течение этих двух дней, ожидая от тебя известия“.

Я пишу ему еще письмо, которое отдам после.

„Я хочу тебе сказать, как я тебя люблю, хотя я знаю, что не в силах выразить это словами. Надо однако, чтобы ты знал это. Я никогда не была счастлива. Все люди, которые меня любили, заставляли меня страдать, даже мой отец и моя мать. Мои друзья все люди хорошие, но слабые и нищие духом; богаты на слова и бедны на дела. Между ними я не встретила ни одного, который бы не боялся истины и не отступал бы перед общепринятыми правилами жизни. Они также меня осуждают. Я не могу уважать таких людей, говорить одно и делать другое — я считаю преступлением. Я же боюсь только своей совести. И если бы произошел такой случай, что согрешила бы перед нею, то призналась бы в этом только перед самой

собою. Я вовсе не отношусь к себе особенно снисходительно, но люди слабые и робкие мне ненавистны. Я бегу тех людей, которые обманывают сами себя, не сознавая,—чтобы не зависеть от них. Я думаю поселиться в деревне среди крестьян и приносить им какую-нибудь пользу, потому что жить и не оказывать пользы другим, считаю не достойным человека".

1 Сентября. Понедельник.

Я не послала двух последних писем Сальвадору, потому что случилось такое происшествие: в один вечер я возвратилась домой от Ф[едора] М[ихайловича] довольно поздно, легла не засвечая огня и плохо спала ночь, думая о Саль[вадоре]. Я проснулась, когда было темно, едва рассвело. Я стала ходить по комнатам и вдруг нечаянно увидела на столе письмо; почерк был незнакомый. Это писал его товарищ. Он уведомлял, что Сальвадор в тифе, что он болен с самого того дня, когда я его в последний раз видела, и я не могу его видеть, потому что он у своих знакомых, рекомендованных его родными, что этот господин об нем заботится и будет иметь подозрение, если я приду. Я тотчас отвечала на это письмо, где говорила, что невозможность видеть Сальв[адора] считаю варварством, и что прошу писать мне чаще о состоянии здоровья своего друга. В этот же день я написала еще письмо Саль[вадору], которого я считала на краю могилы. Я писала, что он, верно, выздоровеет, иначе была бы несправедливость. Я была в страшном отчаянии, что эта болезнь особенно опасна для молодых людей. Ф[едор] М[ихайлович] меня несколько успокоил, сказав, что в здешнем воздухе и при этих медиках неопасно. Я переехала к Мир. и в субботу целый день ждала письма, в воскресенье его самого (я его приглашала, для того, чтобы его расспросить о Сальв[адоре]. В суб[боту] в 6 час. я пошла гулять в улицу Сорбонну и встречаю Саль[вадора]. Я его увидела издали, но никак не могла поверить, что это он. Так мне показалось это невероятным до тех пор, когда он подошел ко мне, улыбаясь, но очень бледный, и взял мою руку. Я едва устояла на ногах и несколько времени не могла ничего сказать. У меня не было еще никакого подозрения, но мне было больно, что он мне не

писал. Первые его слова были, что он был очень болен и что выходит в первый раз.— Да, ты очень бледен,— сказала я. В это время я подняла на него глаза. На щеках у него были красные пятна.

— Ты сердилась на меня, что я не был во вторник, но ведь ты мне назначила четверг.

При этих словах у меня начало проясняться в голове, но я так страдала, что меня недостало на негодование, слезы хлынули мне на глаза.

— Ты куда идешь?— спросил он.

— Гуляю, а ты?

— Я к товарищу в улицу Суфль.

— Пойдем немного вместе. Я думала, что ты умираешь. Твой товарищ написал мне такое письмо. Вот оно — (я вынула из пор[тфеля] письмо,— посмотри, что тут, прочти. Я писала ему два раза и просила его притти.

— Я очень сержусь, что он написал так, я думал, что тиф, но обошлось иначе.

Он смотрел на письмо и, повидимому, ничего не видел или оно ему было знакомо. Он подал мне его.

— Читай,— сказала,— прочти после, дома.

Но он опять его развернул, для того, может быть, чтобы не говорить со мной. Не доходя до ул. Суфль, он мне сказал, что ему нужно итти налево (ему было неловко со мной).

— В таком случае прощай — сказала я,— мне итти прямо.

— Но я могу итти с тобой,— сказал [он]. (Было ли это угрызение совести, или жалость?)

Мы молча дошли до Суфль (он читал письмо своего друга).

— Вот сюда я должен итти — сказал он, указывая на дом, стоявший прямо [против]улицы, из которой мы вышли.

Оставшись одна, я скоро поняла случившееся. Когда я осталась в своей комнате, со мной сделалась истерика, я кричала, что убью его. Этого никто не слышал. Потом я легла и несколько времени ничего не думала. Я чувствовала, как жар вступал в мою голову, я думала, что буду больна и радовалась. Потом я стала думать, что делать и решилась... Я даже хотела писать письмо сестре. Я все приготовила, сожгла

некоторые свои тетради и письма (те письма, которые могли компрометировать меня). Мне было чудно хорошо. Только жаль было мать, да Хогерман, которые бы в этом случае пострадали. Я все думала, нельзя ли их выпутать, сказать, что я у них не жила. Я не спала всю ночь и на другой день в 7 час. утра пошла к Дост[оевскому]. Он спал. Когда я пришла, проснулся, отпер мне и опять лег и закутался. Он смотрел на меня с удивлением и испугом. Я была довольно спокойна. Я ему сказала, чтоб он сейчас же ко мне шел. Мне хотелось рассказать ему все и просить его быть моим судьей. Я у него не хотела оставаться потому, что ждала Сальв[адора]. Когда Ф[едор] М[ихайлович] ко мне пришел, я вышла к нему из-за завтрака с куском хлеба, который я ела. — Ну вот видишь, что я спокойна,— сказала я смеясь.

— Да,— сказал он,— и я рад, но, впрочем, кто тебя разберет?

После некоторых неважных расспросов, я ему начала рассказывать всю историю моей любви и потом вчерашнюю встречу, не утаивая ничего.

Ф[едор] М[ихайлович] сказал, что на это не нужно обращать внимания, что я, конечно, загрязнилась, но это случайность, что Саль[вадору] как молодому человеку нужна любовница, а я подвернулась, он и воспользовался; отчего не воспользоваться. Хорошенькая женщина и удовлетворяющая всем вкусам.

Ф[едор] М[ихайлович] был прав, я это совершенно понимала, но каково же было мне!

— Я боюсь только, чтоб ты не выдумала какой-нибудь глупости (я ему рассказывала о своих мыслях, которые были у меня, когда я однажды не застала Сальва[дора]).

— Я его не хотела бы убить,— сказала я,— но мне бы хотелось его очень долго мучить.

— Полно,— сказал он,— не стоит, ничего не поймет, это гадость, которую нужно вывести порошком; что губить себя из-за него глупо.

Я согласилась. Но все-таки я его очень люблю и готова отдать пол-жизни, чтоб заставить его почувствовать угрызение совести до того, чтоб он раскаялся передо мной. Этого,

конечно, от него не дождаться, ко мне иногда возвращается тоска, и сейчас у меня явилось желание того, что уже я думала прошло,— желание мщения, но как? чем? У него, верно, есть любовница, какая-нибудь дама, у которой бездна поклонников. Он, верно, с ней поссорился и за то сошелся со мной, но теперь, должно быть, они помирились.

Он не был вчера, не придет, конечно, ни сегодня, ни завтра, но что ж он будет делать? Ведь он же обещал притти, когда я не просила его еще только об этом. Его тщеславие, кажется, не позволит ему остаться в моих глазах лжецом. На что же он надеялся, сочиняя историю о болезни? Я решаюсь послать ему деньги за ...[1]) Ф[едор] М[ихайлович] скажет, что это лишнее, он слишком его презирает, и притом он, как видно, находит, что я должна страдать (остаться без отмщения) за свою глупость, но эта глупость имела смысл.

2 сентября.

Ф[едор] М[ихайлович] действительно сказал, что деньги посылать лишнее, что это пустяки. Он думал, что этим я бессознательно ищу предлога сблизиться с Саль[вадором]. Ф[едор] М[ихайлович] сказал, что это поведет к тому, что тот оправдается и обманет меня.— Так неужели же бояться этого, не верить себе,— сказала я,— бояться, что обманут, тогда не нужно уважать себя.

Ф[едор] М[ихайлович] решительно не понял меня и не знал, что это за письмо, вот оно:

„Милостивый государь, однажды я позволила себе получить от вас услугу, за которую обычно платят деньгами. Я думаю, что можно получать услуги только от людей, которых считаем за друзей и которых уважаем. Я посылаю вам эти деньги, чтобы исправить свою ошибку по отношению к вам. Вы не имеете права мне помешать в этом намерении.

P. S. Я хочу еще добавить, что вам незачем от меня прятаться и меня бояться: я не имею желания вас преследовать. Вы можете меня встретить (может быть, это случится) так, как будто мы никогда не знали друг друга, даже я прошу вас

---

[1]) Дальше слово не разобрано.

об этом. Я вам говорю это, предполагая, что вы возьмете мои деньги; в противном же случае я советую вам действительно прятаться от меня подальше, как только можете (потому что тогда я на вас рассержусь, что довольно опасно).

Это будет лучше для вас, так как я особа некультурная (я вполне варварка) и не знаю совершенно искусственных ваших шуток. Говорю это серьезно".

Я рассказала это письмо Ф[едору] М[ихайловичу]. После этого он сказал, что, конечно, послать можно, потому что это по крайней мере не будет пассивно. Я послала это письмо третьего дня и до сих пор нет (и верно не будет) ответа. Признаюсь, я этого не ожидала. Человек этот не настолько развит, чтобы молчать из достоинства и не настолько бесстыден, чтоб — от наглости, он струсил. Может быть, впрочем, он что-нибудь придумает ответить, но едва ли. Судя по его характеру, я предполагаю, что если б он не трусил, то прислал бы мне деньги, хоть без письма. Это письмо должно было очень уязвить не только самолюбие, у него есть даже своего рода честь, которая не в натуре и даже не в голове, а в памяти, почерпнутая из католического катехизиса.

5 сентября. Баден-Баден.

Перед отъездом из Парижа мне было очень грустно. Это не просто чувство привычки, Пет[ербург] я оставляла легко; я уезжала из него с надеждами, а в Париже потеряла многое. Мне кажется, я никого никогда не полюблю. Чувство мщения еще тлело во мне долго и я решила, если не рассеюсь в Италии, возвратиться в Париж и исполнить то, что было задумано ... Дорогой мы разговорились с Ф[едором] М[ихайловичем] о Лермонтове. Я вспомнила этот характер, и все случившееся со мной показалось мне так мелочно, так недостойно серьезного внимания...

„И ничего на этом свете благословить он не хотел".

Он был прав. Зачем же увлекаться.

Мне кажется, что я больна. Это было бы слишком несправедливо. Мне кажется, что в природе есть какие-нибудь законы справедливости.

6 сентября. Баден-Баден.

Путешествие наше с Ф[едором] М[ихайловичем] довольно забавно; визируя наши билеты, он побранился в папском посольстве; всю дорогу говорил стихами, наконец здесь, где мы с трудом нашли 2 ком[наты] с двумя постелями, он расписался в книге „Officier“, чему мы очень смеялись. Все время он играет на рулетке и вообще очень беспечен. Дорогой он сказал мне, что имеет надежду, хотя прежде утверждал, что нет. На это я ему ничего не сказала, но знала, что этого не будет. Ему понравилось, что я так решительно оставила Пар[иж], он этого не ожидал. Но на этом еще нельзя основывать надежды — напротив. Вчера вечером эти надежды особенно высказались. Часов в 10 мы пили чай. Кончив его, я, так как в этот день устала, легла на постель и попросила Ф[едора] М[ихайловича] сесть ко мне ближе. Мне было хорошо. Я взяла его руку и долго держала в своей. Он сказал, что ему так очень хорошо сидеть.

Я ему говорила, что была к нему несправедлива и груба в Пар[иже], что я как будто думала только о себе, но я думала и о нем, а говорить не хотела, чтобы не обидеть. Вдруг он внезапно встал, хотел итти, но запнулся за башмаки, лежавшие подле кровати, и так же поспешно воротился и сел.

— Ты куда-ж хотел итти? — спросила я.

— Я хотел закрыть окно.

— Так закрой, если хочешь.

— Нет, не нужно. Ты не знаешь, что сейчас со мной было! — сказал он с странным выражением.

— Что такое? — Я посмотрела на его лицо, оно было очень взволновано.

— Я сейчас хотел поцеловать твою ногу.

— Ах, зачем это? — сказала я в сильном смущении, почти испуге и подобрав ноги.

— Так мне захотелось, и я решил, что поцелую.

Потом он меня спрашивал, хочу ли я спать, но я сказала, что нет, хочется посидеть с ним. Думая спать и раздеваться, я спросила его, придет ли горничная убирать чай. Он утверждал, что нет. Потом он так смотрел на меня, что мне стало неловко, я ему сказала это.

— И мне неловко,— сказал он с странной улыбкой.

Я спрятала свое лицо в подушку. Потом я опять спросила,— придет ли гор[ничная], и он опять утверждал, что нет.

— Ну так поди к себе, я хочу спать — сказала я.

— Сейчас, — сказал он, но несколько времени оставался. Потом он целовал меня очень горячо и, наконец, стал зажигать для себя свечу. Моя свечка догорала.

— У тебя не будет огня,— сказал он.

— Нет, будет, есть целая свечка.

— Но это моя.

— У меня есть еще.

— Всегда найдутся ответы,— сказал он улыбаясь, и вышел. Он не затворил своей двери и скоро вошел ко мне под предлогом затворить мое окно. Он подошел ко мне и посоветовал раздеваться.

— Я разденусь,— сказала я, делая вид, что только дожидаюсь его ухода.

Он еще раз вышел и еще раз пришел под каким-то предлогом, после чего уже ушел и затворил свою дверь. Сегодня он напомнил о вчерашнем дне и сказал, что был пьян. Потом он сказал, что мне, верно, неприятно, что он меня так мучит. Я отвечала, что мне это ничего, и не распространялась об этом предмете, так что он не мог иметь ни надежды ни безнадежности. Он сказал, что у меня была очень коварная улыбка, что он, верно, казался мне глуп, что он сам сознает свою глупость, но она бессознательна.

Того же дня вечером.

Я сейчас вспомнила сестру, она осудила бы меня за поездку в Италию, но я себя не осуждаю. Какая-то страсть влечет меня путешествовать: знать, видеть, и что же, разве она не законна? Вообще тот катехизис, который я прежде составила и исполнением которого гордилась, кажется мне очень узким. Это было увлечение, которое повело бы к ограниченности и тупости. Не есть ли, однако, это переход к тому совер[шенно] новому и противоположному пути.... Нет, тогда бы я призналась себе, ведь я же его обдумала и притом теперь я спокойна. Я замечаю, что в мыслях у меня совершается переворот.

Ф[едор] М[ихайлович] проигрался и несколько озабочен, что мало денег на нашу поездку. Мне его жаль, жаль, отчасти, что я ничем не могу заплатить за эти заботы, но что же делать — не могу. Неужели-ж на мне есть обязанность — нет, это вздор.

14 сентября. Турин. 1863.

Вчера мы обедали с Ф[едором] М[ихайловичем] в нашей гостинице за table d'hôte. Обедающие были все французы, молодые люди; один из них очень нагло посматривал на меня, и даже Ф[едор] М[ихайлович] заметил, что он как-то двусмысленно кивал на меня своему товарищу. Ф[едора] М[ихайловича] взбесило и привело в затруднение потому, что ему довольно трудно в случае нужды меня защищать. Мы решились обедать в другой гостинице. После того, как француз кивнул на меня своему соседу, Ф[едор] М[ихайлович] подарил его таким взглядом, что тот опустил глаза и начал острить очень неудачно.

17 сентября, Турин. 1863.

На меня опять нежность к Ф[едору] М[ихайловичу]. Я как-то упрекала его, а потом почувствовала, что неправа, мне хотелось загладить эту вину, я стала нежна с ним. Он отозвался с такой радостью, что это меня тронуло, и стала вдвое нежнее. Когда я сидела подле него и смотрела на него с лаской, он сказал: „Вот это знакомый взгляд, давно я его не видал". Я склонилась к нему на грудь и заплакала.

Когда мы обедали, он, смотря на девочку, которая брала уроки, сказал: „Ну вот, представь себе, такая девочка с стариком, и вдруг какой-нибудь Наполеон говорит: „истребить весь город". Всегда так было на свете".

22 сентября, Генуя. Вторник.

Ну, город! Дома с колокольню, а улицы в 2 вершка шириной. Дома расписаны и архитектуры чудовищной, крыши поросли травой; по улицам этим ходят итальянцы с открытой грудью и женщины с белыми покрывалами на голове; покрывало заменяет шляпку и мантилью.

Вчера в Турине читала о философии и сверх ожидания кое-что поняла. Авт[ор] говорит, что Кант остановился на положении:

„Мы не можем понимать вещей в них самих“. А Гегель дошел до того, что вещи существуют только в понятии. Под словом понятие он разумеет не личное понятие, но понятие, которое содержится в самих вещах. Потом авт[ор] делит понятие и понимание. Понимание у него общее, абсолютное, а понятие — частное, личное. Потом о понятии и реальности. Он говорит, что они хоть и посредственны, но диаметр[ально] противоположны: понятие существует о вещи, которая есть или может быть, а реальность — вещь, о которой существует или может существовать понятие.

24 сентября. Четверг. Ливорно. На палубе.

Вчера была сильная качка, я думала, что мы погибаем. На корабле есть матрос, говорящий по-русски, и норвежец-писатель, который переводил и читал кое-что из русской литературы, пожилой человек. Сегодня мы должны целый день стоять в Ливорно, затем, что корабль наш берет новый груз. Матрос, говорящий по-русски, водил меня по кораблю, когда это было мне нужно, и при этом говорил мне „ты“, что мне очень понравилось (это напоминает русского мужика, который не употребляет „вы“), да ведь он и учился у мужиков.

Сейчас пришли два итальянца, с которыми вместе мы переезжали „Мон-Сенис“: один очень молодой, другой — лет 32, оба очень серьезные, даже строгие; дорогой старший читал „Petit Napoleon“. Младший предлагал тогда мне виноград. Они оба мне нравятся. Тот итальянец, что у нас на корабле, который так усердно спрашивает меня о здоровьи и ухаживает за всеми больными, мне не нравится, он больше похож на француза, особенно, когда разговаривает с молоденькой девочкой, за которой он приударяет как-то на французский лад.

В эту минуту я сижу на верхней палубе очень близко к двум итальянцам. Француженка, едущая на поклонение св. Петру, проходя мимо меня, сказала, что я, верно, не хочу даром терять времени. Я отвечала, что имею слишком много работы и жалею, что в дороге много приходится даром терять времени.

Рим. 29 сентября.

Вчера Ф. М. опять ко мне приставал. Он говорил, что я слишком серьезно и строго смотрю на вещи, которые того не стоят. Я сказала, что тут есть одна причина, которой прежде мне не приходилось высказать. Потом он сказал, что меня заедает утилитарность. Я сказала, что утилитарности не могу иметь, хотя и есть некоторое поползновение. Он [не] согласился, сказав, что имеет доказательства. Ему, повидимому, хотелось знать причину моего упорства. Он старался ее отгадать.

— Ты не знаешь, это не то, — отвечала я на разные его предположения.

У него была мысль, что это каприз, желание помучить.

— Ты знаешь,— говорил он,— что мужчину нельзя так долго мучить, он, наконец, бросит добиваться.

Я не могла не улыбнуться и едва не спросила, для чего он это говорил.

— Всему этому есть одна главная причина — начал положительно (после я узнала, что он не был уверен в том, что говорил), — причина, которая внушает мне омерзение; — это полуост[ров].

Это неожиданное напоминание очень взволновало меня.

— Ты надеешься.

Я молчала.

— Теперь ты не возражаешь,— сказал он,—не говоришь, что это не то.

Я молчала.

— Я не имею ничего к этому человеку, потому что это слишком пустой человек.

— Я нисколько не надеюсь, мне нечего надеяться, — сказала я, подумав.

— Это ничего не значит, рассудком ты можешь отвергать все ожидания, это не мешает.

Он ждал возражения, но его не было, я чувствовала справедливость этих слов.

Он внезапно встал и пошел лечь на постель. Я стала ходить по комнате. Мысль моя вдруг обновилась, мне, в самом деле, блеснула какая-то надежда. Я стала, не стыдясь, надеяться.

Проснувшись, он сделался необыкновенно развязен, весел и навязчив. Точно он хотел этим победить внутреннюю обидную грусть и насолить мне.

Я с недоумением смотрела на его странные выходки. Он будто хотел обратить все в смех, чтоб уязвить меня, но я только смотрела на него удивленными глазами.

— Не хороший ты какой,— сказала я наконец просто.

— Чем? Что я сделал?

— Так, в Пар[иже] и Турине ты был лучше. Отчего ты такой веселый?

— Это веселость досадная,— сказал он и ушел, но скоро пришел опять.

— Нехорошо мне,— сказал он серьезно и печально.— Я осматриваю все как будто по обязанности, как будто учу урок; я думал, по крайней мере, тебя развлечь.

Я с жаром обвила его шею руками и сказала, что он для меня много сделал, что мне очень приятно.

— Нет,— сказал он печально,— ты едешь в Испанию.

Мне как-то страшно и больно — сладко от намеков о С[альвадоре]. Какая, однако, дичь во всем, что было между мной и Сальв[адором]. Какая бездна противоречий в отношениях его ко мне!

Ф[едор] М[ихайлович] опять все обратил в шутку и, уходя от меня, сказал, что ему унизительно так меня оставлять (это было в 1 час ночи. Я раздетая лежала в постели). „Ибо россияне никогда не отступали".

6 октября. Неаполь.

В Риме раз на улице встретила процессию: вели двух воров, молодых людей (20 и 16); на это зрелище сбежалась смотреть огромная толпа, дамы в экипажах останавливались и приподнимались.

В Неаполе, как только вышли в первый день на улицу, какая-то женщина сунула мне в руку желтый цветок и стала требовать денег; я встретила несколько таких женщин в первый день, но теперь их более нет. Дети тоже пристают с просьбой . . . . . .[1]) и когда одному дашь,— собирается около

[1]) Одно слово не разобрано

целая куча. Если не даешь, они выпрашивают всеми средствами: смешат вас, делают вам гримасы, кувыркаются перед вами, развертывают свои лохмотья и показывают голое тело. Когда извозчику прибавишь хоть гривенник, он бросится целовать руки. Если на улице чего спрашиваешь и не можешь растолковать, собирается целая куча и стараются растолковать. Вчера была в Колизее. Солдат, который провожал туда, тотчас мне сказал, что я русская, узнал по лицу. В трактире, подле Колизея, встретился какой-то господин, который заговорил по-русски; начал с того, что такую вдруг резкую перемену климата встретил он в несколько дней тут (он из Петербурга) и перешел к тому, что Генуя скучна, не дает ничего для жизни умственной, что он ее не любит, несмотря на то, что уроженец генуэзский и предки его там существовали за семьсот лет назад и у него там имение.

Он успел сообщить мне, что у него в России жена и 10 человек детей, что он знает Россию и был управляющим, что в Неаполе служит тут.

По дороге от Рима до Неаполя нас очень часто обыскивали и беспрестанно требовали паспорты.

Париж, 22 октября.

Сегодня в 4 часа приехала, в 5 была у М. Выходя из кареты, я спросила извозчика, сколько ему нужно заплатить (хотя и знала, что 2 франка). Он сказал 2 франка, я отдала, но он вдруг сказал, что $2^1/_2$. Ни слова не говоря, я отдала остальные. Он внес мой сак на двор (чего извозчики здесь не делают) и старался мне услужить, ему как будто было совестно. Я стучалась у М., когда все еще спали, хотя было 5 часов. M-me Р. меня хлопотливо встретила, спрашивала, не хочу ли я чего есть и пошла убирать мою постель, завтрак мой она принесла ко мне наверх и вообще очень около меня хлопотала.

Вся эта приязнь за какую-нибудь, подаренную мною ей, старую юбку... Бедные люди! Теперь, сходя вниз за чернилами, я встретила Katherine. Она обязательно спросила, не чернил ли мне нужно, и взялась достать, я согласилась, имея в виду подарить ей, когда придет ко мне, запонки, что я приготовила

в Неаполе. Катерина была в восторге от запонок и тут же просила меня всегда во всем к ней обращаться.

Бедные, бедные люди!

На дороге, на корабле, в самом Неаполе мы встретили Гер[цена] со всем семейством. Ф[едор] М[ихайлович] меня представил, как родст[венницу], весьма неопределенно. Он вел себя со мной при них как брат, даже ближе, что должно было несколько озадачить Г[ерцена]. Ф[едор] М[ихайлович] много говорил ему обо мне и Г[ерцен] был внимателен. С мол[одым] Г[ерценом] я тоже говорила. Это какой-то отчаявшийся юноша. Я, говоря о моих загр[аничных] впеч[атлениях], сказала, что везде нахожу более или менее гадость, а он доказывал, что не более и менее, а везде одинаково гадко. Во время моего разговора с ним, Ф[едор] М[ихайлович], когда я была одушевлена, прошел мимо и не остановился, я подозвала его, он обрадовался. Молодой Г[ерцен] сказал, что зимой будет в Париже и придет ко мне, спросил мой адрес, но прибавил, что узнает его от Б.[1]). Я рассказала Ф[едору] М[ихайловичу], тот мне посоветовал дать адрес, чтоб таким образом больше показать внимания. При прощаньи (в Ливорно), я дала Г[ерцену] адрес. Ф[едор] М[ихайлович] провожал Г[ерцена] и был у них в гостинице. Возвратясь, он неспокойно сказал, чтобы я ему непременно написала, если у меня будет Г[ерцен]. Я обещала. Вообще он ничего не говорил со мной о молодом Г[ерцене], но когда я первая довольно легко заговорила, он продолжал и отозвался не совсем в его пользу. Еще он мне сказал, что у Г[ерцена] увидал мою карточку, которую я дала ему с моим адресом. На ней была записана Алек[сандром] фраза отца: „С одним рассудком люди не далеко бы ушли“.

В день от‘езда из Неаполя мы с Ф[едором] М[ихайловичем] поссорились, а на кор[абле], в тот же день, под влиянием встречи с Г[ерценом], которая нас одушевила, об‘яснились и помирились (дело было из-за эмансипации женщин). С этого дня мы уже не ссорились; я была с ним почти как прежде и расставаться с ним мне было жаль.

Сестра пишет, что нет возможности оставаться в академии от пошлых выходок студентов и просит узнать, можно ли

---

[1]) Фамилия не разобрана.

слушать лекции в Париже. Кажется, будет можно. Да, еще об этом узнаю от M-eur Эмиля. M-eur Эмиль оказывается серьезным молодым человеком, а я-то прежде какую—к нему имела...

Тотчас по приезде домой, я хотела спать, легла, но не могла заснуть. Мысли были как-то смешаны, но мало-по-малу они определились... Я вспомнила то, как оставляла Париж... Я думала, и какие-то надежды приходили в голову против воли, надежда уязвить, отмстить, или в ней было что другое... Сердце страдало и требовало своей доли, убеждая, льстя. О, как оно, ныло, как вертелось! Я пошла гулять и очутилась на St. Denis и около St. André Des Artes. Бедное сердце, к чему лукавить? Возвратясь домой и придя в мою комнату, я тотчас заметила на полу пятно—след сожжения бумаги в день, как в последний раз видела его.

Париж мне кажется решительно отвратителен.

Октябрь 27.

Вчера получила письмо от Ф[едора] М[ихайловича], он проигрался и просит прислать ему денег. У меня не было денег: я только что отдала все M-me Mir. Я решилась заложить часы и цепочку и об этом стала советоваться с Тум... Тот вызвался, чего у меня не достанет, просить у М., кроме того обещал своих, которых у него было 50 фр. M-me M. дала все 300 фр. на месяц. С посылкой денег были некоторые хлопоты. Тум... рассказал мне, как их послать, и я отправилась, да по дороге немного запуталась, прихожу и встречаю — Алх[азова], это он пришел, чтобы растолковать мне, как послать. Этим дело не кончилось, нужно было зайти домой и итти опять. Я только-что пришла, как на помощь является Т... В то время когда я толковала поч[тмейстеру] об этом письме, в почтамт является молодой человек, который мне показался пох[ожим] на Баскова. Он стоял сзади меня. Я обер[нулась] и бросила на него быстрый взгляд. Я почти увер[ена], что это он и загов[орила] с Ту.. Он отошел и стал читать на стене уведомления. Уходя, я взглянула на него, хотя не так пристально, и знаю, что это был он. Он видел, зачем я приходила, и слышал г. Гамбург, видел также, что я посылала деньги и платила из

моего кошелька, след[овательно] дело было собственно мое, а товар[ищ] только помогал мне.

Сегодня за столом зашла речь о кафе. Кто-то сказал, что в Лондоне нет кафе, и мужчины больше дома, что, конечно, приятно дамам. Дама заметила, что, может быть, дам[ам] веселее и приятнее без мужей; хозяин на это возразил, что только бесчестным дамам может быть это приятно. Потом он защищал каф[е] тем, что там можно видеть своих друзей и толковать о пол[итике]. Ан[гличанин], его защищая, сказал: Вот, напр., русские, они не нуждаются в каф[е], потому что не имеют полит[ического] чувства. Я хотела ему сказать, что он не знает ни русского народа, ни истории.

9 ноября.

Неделю назад послала такое письмо С[альвадору]:

„Я вынуждена вам писать, чтобы спросить вас, получили ли вы то письмо, которое я вам написала в конце августа месяца. Благодаря некоторым известным обстоятельствам я опасаюсь не пропало ли оно. Я должна знать непременно, получено ли вами то письмо или нет, потому что я не хотела так оставаться, не пославши вам и не сказавши то, что хотела вам послать и сказать. Меня уверяют, что письма, которые посылают таким способом, каким я послала, обыкновенно не теряются, но такие доводы меня не успокаивают, я не хочу доводов, я хочу знать, получили ли вы его. Вы очень хорошо знаете, что это дело коммерческое, а не личное. Вы не ответили мне на первое письмо, ни на второе, на которое я вас и не просила мне отвечать.

Если вы мне не ответите на это письмо, я буду думать, что вы не получили письма, которое я послала вам в августе месяце, и я вам пошлю такое же другое письмо".

15 ноября. Воскресенье.

Не получив никакого ответа на письмо мое, я послала С[альвадору] другое с деньгами (денег не было, и я заложила кольцо). Вот это письмо:

„Ваше молчание, милостивый государь, мне доказывает, что вы или не получили мое письмо в августе месяце, или же по крайной мере, что вы хотите получить еще раз подобное,

Я вам его воспроизвожу, со всеми приложениями, как я вам его обещала. Посылая с тем письмом эти несчастные 15 франков, я хотела р а с с ч и т а т ь с я с вами за Вашу услугу, которую я приняла тогда за знак дружбы. Я не хочу более оставаться вам обязанной это против моих принципов быть обязанной людям, которых я не уважаю. Я вам писала в том письме, что я не имею ничего против вас, как не имела бы против обломка который упал бы случайно на меня на улице. Но если бы вы захотели протестовать против моего письма, я на вас взглянула бы другим образом, т.-е. как на существо одушевленное. Впрочем, теперь я нахожу эту последнюю предосторожность, не нужной... Люди, как вы, наделены интстинктом самосохранения... Вы будете жить очень долго и очень счастливо.

Посылая вам это письмо я принимаю все предосторожности чтобы предотвратить себя от обмана, как иностранку".

Это письмо я послала с комиссионером, приказала ему отдать письмо в руки и требовать расписки в получении. Я растолковала комиссионеру, что 2 письма, посланные таким образом, пропали, чтоб он сказал это С[альвадору].

„Братья пустите меня с вами умереть".

П у т е в ы е з а п и с к и.

Германии я не видала. Двое суток прожила в Бер[лине] и потом ехала до Парижа, нигде не останавливаясь. Думала видеть Дрезденскую галлерею, прокатиться по Рейну, но отказалась от всех этих намерений при одной встрече с немцами. Немцы решительно свели меня с ума. Тупость и ограниченность служащих на железной дороге чиновников и работников кажутся решительно баснословны.

Эта несчастная нация кажется мне решительно обиженной богом. Благодаря им мне раз пришлось остаться на станции, другой — приехать не туда, куда следовало; оба раза случилось при перемене вагонов.

16 н о я б р я. П а р и ж. П о н е д е л ь н и к.

Вчера ходила к комиссионеру, с которым послала письмо Кор. и не застала его, зашла к дворнику сказать, чтоб передал о моем посещении и пригласил ко мне в 6 час... Не был сегодня; я пошла сама. Комиссионер едва взглянул на меня,

когда я подошла с вопросом о моем деле. Он отдал мое письмо и сказал, что не нашел Кор. Что ему сказали, будто такого господина там нет и никогда не было. Это меня взбесило. Солгать-то не умел Кор. Пусть бы велел сказать: его нет, а то: [и] не было никогда. Я послала письмо по почте.

Я было написала С[альвадору] такое письмо:

„Я не думала писать вам бы и, конечно, не написала бы, если вы не вздумали от меня прятаться. Вы подкупили несчастного комиссионера, чтоб он уверял меня, будто вас нет и никогда не было. Я, может быть, и поверила бы, если б не писала вам туда прежде и не получала ответы... Эта такая неудачная ваша уловка дает мне право предполагать, что вы получили все мои письма. Прошу вас ответить, так это или нет. Мне так [не хочется] обидеть напрасно подозрением в утайке денег, может быть, честных людей. Если вы мне не ответите удовлетворительно, я принуждена буду обратиться к моему посольству с просьбой разыскать через французскую полицию, кто был вором моего первого к вам письма. Не увертывайтесь же от прямого ответа, хуже запутаетесь, как это обыкновенно с вами бывает".

17 ноября.

Сегодня, когда я пришла обедать, M-me P. мне сказала, что какой-то господин меня спрашивал и хотел притти после. Это меня удивило, что ко мне кто-то пришел. Я невольно думала о С[альвадоре], и сердце мое забилось.

— Молодой человек? — спросила я.

— Да, высокий.

— С бородой — сказала я, предполагая молодого Гер[цена].

— С черной бородой.

Я не могла придумать, кто бы это мог быть. После обеда меня позвали, сказав, что кто-то желает меня видеть. Это был высокий стройный молодой человек. Он мне сказал, что он от С[альвадора]. Я вспыхнула и задрожала. Я взяла свечку и попросила его итти за мной в мою комнату. Войдя, я подала ему стул и затворила дверь. Потом я села и спросила, что ему нужно от меня (голос мой очень дрожал). Он принес мне 15 ф. и сказал, что С[альвадор] получил уже в августе и больше получать не желает.

Я догадалась, что это брат С[альвадора], по портрету, который когда-то он мне показывал... Какой прекрасный тип плантатора, этот молодой человек; красивый, приличный, хорошо одетый, серьезный. Когда он сказал, что я обидела С[альвадора], глаза его горели. Он и в самом деле думает, что я обидела С[альвадора]. Я сказала, что не могу говорить о моих делах и M-eur С[альвадора] с другими. Я очень плохо говорила, забыла все слова французские: я была очень взволнована. Разговор наш был очень короток. Я встала, заметив, что нам не о чем больше говорить. Он мне предложил адрес С[альвадора], сказав, что, может быть, я желаю ему писать, но я сказала, что не имею никакой нужды в нем. Провожая его, я ему светила. Он просил меня не беспокоиться, но я его проводила до передней и сама пошла в залу, откуда слышались звуки музыки, но я скоро вернулась к себе. Глубокая тоска схватила мое сердце, я стала громко читать:

„Выводи на дорогу тернистую" и т. д.—так, как читают молитву от навождения бесов. Мне стало легче.

24 ноября. Вторник.

Престранная история! Есть у Мир. Англичанин, с которым я несколько раз говорила. Он не молод и очень серьезен. Мы несколько раз, оставаясь одни в зале после обеда, говорили с большой симпатией: о французах, о направлении русского общества; разговор всегда начинала я. Потом я как-то перестала с ним говорить, но в обыкновенное время являлась в залу, куда приходил и он.

Мы оба молчали.

В воскресенье (22) он об'явил, что через два дня едет в свой дом. В этот день за обедом я была очень грустна и почти не ела так, что это заметили (Тум. и M-me). Мне было скучно в этот день особенно потому, что я чувствовала свое одиночество. M-me Мир. с А... Тум. и прочими были на кон[церте], а мне не сказали, что пойдут, хотя я прежде высказывала желание быть в концерте. „Черт с ними", —подумала я и после обеда заговорила с Англич[анином]. Я его спросила о Д.-Ст. Милле. Он с большой живостью отозвался на мой вызов говорить. Алхазов вмешался в наш разговор. Я стала им рас-

сказывать, что в библиотеке есть один молодой человек, который со мной заговаривает, что он показал мне в своей книге трактат философа какого-то про любовь и спрашивал моего мнения, что мне доставило много смеха.

В этой статье автор говорит, что человек рожден думать, но этого недостаточно для полного развития, нужно испытать страсть, любовь и самолюбие.

Алх[азов] и Анг[личанин] очень этому смеялись. Алхазов заметил, что молодой человек должно быть очень молод. Они меня спросили, что я ответила. Я сказала, что нашла эти идеи средневековыми, что любовь и самолюбие могут быть, но смешно их обрабатывать, когда у нас так много дела, дела необходимого, что куда нам такая роскошь, когда мы нуждаемся в хлебе, умираем с голода, а если едим, то должны защищать эти права миллионами солдат и жандармов и прочая. Я говорила с большим жаром, в комнате было много народа и между прочим Уильям, который сидел подле Анг[личанина] и иногда с ним перекидывался словами. „Этот молодой человек,— сказал мне Анг[личанин], указывая на Уиль[яма],— заметил, что мы говорим с симпатией".

— Может быть,—сказала я.

— Может быть,— гов[орил] он,— а молодой человек (в библиотеке)?

— Что — сказала я в припадке веселости — я не монополист.

И мы очень хохотали, мой дерзкий ответ видимо понравился Англич[анину].

Он возобновил разг[овор] о молодом человеке и сказал, что это смешно, но лично, может быть, очень интересно. Потом он сказал, что молод[ой] челов[ек] может быть заинтересован лично в любви и самолюбии. Я сказала, что не имею права этого думать. Вдруг Ан[гличанин] мне говорит, что он в продолжение года постарается мне [по] лучше об'яснить свое мнение о любви... и амбиции. Я посмотрела на него с изумлением, M-me сидела недалеко.

— Т.-е. в продолжение года я надеюсь лучше говорить по-французски,— сказал он.

На другой день за завтраком при встрече со мной он был суров. Мар. спросил, где его квар[тира] в Лонд[оне], что он поедет в Англию в январе и зайдет к нему.

— Вы приедете в Пар[иж] в ян[варе]? — спросила M-me.

— C'est probable! — ответил холодно Ан[гличанин].

После обеда я, по обыкновению, прошла в залу, куда и он скоро явился; несколько времени мы сидели вдвоем; он был угрюм и молчал.

На следующее утро (сегодня) M-me его спросила:

— Вы завтра едете, M-eur?

— Не знаю, — сказал он — это еще неизвестно.

Я почувствовала сильное желание расхохотаться и отодвинулась к спинке стула, таким образом спряталась от глаз Ан[гличанина]. Однако мне было любопытно, что после всего этого от него будет, но ничего еще не было.

А люблю-то я все-таки С[альвадора].

5 декабря, суббота.

Вчера была в кафе Rotond, где встретила и познакомилась с молодым медиком, голландским подданным, которого, впрочем, можно считать русским: он говорит и думает по-русски; родился и воспитывался в России и России хочет служить Сегодня он у меня был, и мы долго говорили. Странный человек! Когда я сказала к чему-то, что в данном случае люди унизились бы до степени животных, он сказал: „так вы аристократка!" и потом доказывал, что животные умнее людей, ибо они умеют держать себя с людьми и понимают их, но что человек в обществе животных гораздо более невежда, что лошадей он считает святыми, а в природе уважает только нервы, которых растраивать в животных без причин не позволит себе, что религия очень хорошее средство против подлецов. Он возражал на мое желание ехать в Америку, что там ничего нет хорошего, что змей можно видеть в Jardins des Plantes, что гораздо удобнее, ибо они за решеткой.

Ненавижу Париж и не могу оторваться от него. Может быть, потому, что этот город действительно имеет что-то для тех, у кого нет определенного места и цели. Желание видеть Америку не покидает меня... Несмотря на присутствие новых лиц,

новых занятий, меня преследует одна мысль, один образ... И что я в нем нашла?.. То-ли, что понятия его так узки, что он не может судить о некоторых вещах. Нет~~, это то,~~ что нет людей, что в других людях все так мелко, прозаично.

12 декабря, суббота.

Сегодня был Задлер.

— Знаете что,— сказал он,— мы хотим ехать в Англию, так, небольшая компания. Хотите, поедемте вместе.

— В самом деле, но как-же? Когда?

— Да скоро, скорее очень удобно, дешево, главное, 37 ф[ранков] взад и вперед, билет на месяц, можно там пробыть неделю, все осмотреть и назад.

— В самом деле, это недурно.

— Так что-же, поедемте!

— Поедемте, но как же, знаете ли язык?

— Нет, да это ничего, можно научиться.

— Но как-же, когда?

— Да нужно торопиться, возьмите учителя, неделю займемся и баста.

— Как, только неделю?

— Ну да, а то что-же? Что мы изучать что-ли будем: подайте, принесите, позвольте спросить, где такая-то улица; вот ведь все, что нам нужно.

— Но одна неделя! согласитесь.

— Да что тут размышлять! Давайте завтра учиться, я сегодня же отправляюсь отыскивать учителя. Да что тут! Вот у вас тут кстати диксионер Райфа, тут есть английские слова.

Он развернул диксионер.

— Ну вот, что тут такое, я ведь учился когда-то английскому.

— Ну вот, здесь что такое, какие слова: озарять, оздаравливать... ну, это нам не нужно. Что дальше: порозоветь, перерождение, ну и это не надо... поворотить, а вот оно: return... turn take off. Сэр, позвольте вас спросить, как повернуть в такую-то улицу. Return есть, нужно искать: позвольте, потом улицу, ищите улицу; да, мы будем болтать, чего тут! Посмотрим улицы, здания, в театр сходим, в парламент, нужно видеть Пальмерстона, виват ему прокричим, право, прокричим.

Я в Берлине был в палате и кричал—hurrah! hurrah! Постойте, как это по-английски: to see. Ну вот и на немецкий еще похоже. Ну так что-же, едем?

— Едем.

— Прекрасно. За дорогу 37 ф. да на разные издержки 50, да на стол по 10 фр. в день, довольно всего 100 ф. Остановимся в дрянном отеле, что тут церемониться.

Потом он рассказывал, как здесь некоторые профессора держат себя с студентами.

Приходит на лекцию 60-тилетний старик. „Ну, господа, я начинаю, записывай. Послушайте, вы задний, что вы там сидите, чего не записываете? А вы чего смотрите?

„Освистать профессора, — говорит он,— да смели бы вы меня освистать!"

— Такого-то недавно освистали,—гово[рят] ему.

— Что? Что?

— Освистали Г. за такое-то мнение.

— Как! что вы говорите. Да я тоже такого мнения. Ну что же? Ну, освистывайте меня.

— Г-н пр[офессор], да я ничуть не против этого мнения, напротив, я только вам сказал, что Г. освистали.

— А, так вы согласны с этим мнением?

— Совершенно.

— Прекрасно, давайте вашу руку.

Задлер принес с собой книгу Тьера, которую уже читал Он говорил, что читая о священном союзе, краснел за род человеческий; говорил, что после этой книги ему стыдно принадлежать к человеческому роду.

12 декабря, суббота.

До того все, все продажно в Париже, все противно природе и здравому смыслу, что я скажу в качестве варвара, как некогда знаменитый варвар сказал о Риме: „Этот народ погибнет!" Лучшие умы Европы думают так. Здесь все продается, все: совесть, красота; продажность сказывается во всем, в позах и выточенных словах m-eur M., в затянутых талиях и взбитых волосах девиц, что попарно гуляют по улицам. Особенно чувствуется продажность, когда живешь одна. Я так привыкла

получать все за деньги: и теплую атмосферу комнаты и ласковый привет, что мне странным кажется получить что бы то ни было без денег. Если я [спрошу] о чем кого на улице, мне както неловко, даже я боюсь невольно, что придется дороже, как однажды это было...

Я помню виноград, который я с'ела даром на Мон-Сент, совершенно даром.

Сегодня за обедом говорили о достоинстве шампанского вина. M-eur M. с большим жаром доказывал его индивидуальность, которую кто-то вздумал оспаривать.

23 среда (декабря).

Иногда глупость людей, которых я встречаю, приводит меня в отчаяние. Так было в воскресенье: хоз[яин] доказывал, что... брак по расчету очень хорошая вещь, и его никто серьезно не опровергал; не умели; тут говорились дикие вещи; в опровержение приводили, что... женясь таким образом, можно ошибиться, попасть на безнравственную женщину, но хоз[яин] говорил, что ошибиться в этом случае нельзя, можно собрать очень верные сведения, и был прав. Это до того меня расстроило, что я не выдержала, ушла и отправилась гулять. Долго ходила, как потерянная, забывая где я; сколько раз я решительно начинала плакать.

Я начала учиться испанскому — это меня очень занимает, мне нравится даже самый процесс учения языка. Я очень довольна, когда занимаюсь испанским, но иногда среди этих занятий, мысль о нем нахлынет мгновенно, и сердце так больно, больно сожмется.

Сегодня к нам явились новые жильцы, — два американца (северные). Мне они нравятся, особенно один: лицо такое энергическое и серьезное. Он на меня смотрел внимательно и серьезно, в это время и я на него смотрела. Это должно быть люди, слава богу. Но может быть я не сойдусь с ними?

31 декабря, четверг.

Сегодня я после обеда осталась в столовой читать полученное письмо. Хозяйка, хозяин, груз[ин], и еще кто-то были в зале. Хозяин заговорил что-то обо мне, хозяйка подхватила, я слышала только: Cette pauvre fille... Она замолчала (верно кто-то заметил ей, что я недалеко) затем вошел Тум., сказал

незначащую фразу, спросил, что пишут мне, и вышел. Прочтя письмо, я пришла сказать новость о Черныш[евском] и скоро ушла, потому что пришел какой-то господин.

Завтра за завтраком я заговорю с кем-нибудь о том, какими misérables кажутся путешественники в чужих краях и особенно в Париже, и особенно русские.

Января 7. 1864.

Недавно слушала Франсис. Мне очень понравился этот господин. Его идеи, смелые, честные и живые, не доходят до несчастной крайности оправдывать все целью; язык живой, но без напыщенности. Этот человек совершенно олицетворяет мой идеал француза; даже самая его наружность мне понравилась: сухощавый старик с подвижным лицом, проницательными глазами и какой-то неуловимой иронией на лице; он в то же время имеет какую-то простоту и благородство.

Это фигура изящная, аристократическая; я заметила его руки с тонкими длинными пальцами. Я заметила, что он умеет льстить массе... и не прочь от этого. Он произвел на меня хорошее впечатление, я давно не слыхала честного живого слова

Сегодня была в библиотеке. Я начала ее посещать с третьего дня, и вчера в первый раз встретила моего знакомца, но я сидела на новом месте, за что он меня упрекал, подходя ко мне. Сегодня, как я вошла о библиотеку, он был уже там. „Вы, наверное, останетесь сегодня на старом месте“, — сказал он, когда я проходила мимо него.

И я осталась. Мы много говорили. Он спрашивал мое мнение насчет польского восстания, спрашивал, есть ли у нас образованные женщины, слушаю ли я публичные лекции. Потом он спрашивал меня о моей специальности. Я тоже его спрашивала о его. Он занимается философией. Он много спрашивал меня о России и говорил, что может быть туда поедет; говорил, что у него есть молодой человек, который знает рус[ский] яз[ык], и стал меня спрашивать значение слов, которые хотел об'яснить по буквам, но я по обыкновенной своей откровенности сказала, что ничего не понимаю, что лучше б он мне показал записочку, по которой говорил. Он немножко сконфузился, однако показал; тут были слова: „Душенька моя, хоро-

шая моя, милая девушка". Я сказала, что это глупости.—„Ну, так я изорву",—сказал он. Милый это мальчик, очень милый. Одно то чего стоит, что заговорил со мной, это уж смелость.

С некоторого времени я опять начинаю думать о Сальвадоре. Я была довольно спокойна, хорошо занималась, но вдруг иногда я припоминала оскорбление, и чувство негодования подымалось во мне. Теперь как-то особенно часто я об нем вспоминаю, и убеждение, что я осталась в долгу, не выходит у меня из головы. Я не знаю, чем и как заплачу я этот долг, только знаю, что заплачу наверное, или погибну с тоски.

Знаю, что пока существует этот дом, где я была оскорблена, эта улица, пока этот человек пользуется уважением, любовью, счастьем—я не могу быть покойна; внутреннее чувство говорит мне, что нельзя оставить это безнаказанно. Я была много раз оскорблена теми, кого любила, или теми, кто меня любил, и терпела... но чувство оскорбленного достоинства не умирало никогда, и вот теперь оно просится высказаться. Все, что я вижу, слышу каждый день, оскорбляет меня и, мстя ему, я отомщу им всем. После долгих размышлений я выработала убеждение, что нужно делать все, что находишь нужным. Я не знаю, что я сделаю, верно только то что сделаю что-то. Я не хочу его убить, потому что это слишком мало. Я отравлю его медленным ядом. Я отниму у него радости, я его унижу.

Париж, 13 февраля.

Сегодня купила башмаки. Я была второй раз в этой лавке. Продавец и жена были необычайно любезны, примеривали и показывали бездну башмаков; мне даже совестно было, что я купила на 3 ф. только,—так они были услужливы. В конце концов оказалось, что они меня обсчитали на $^1/_2$ ф.; меня это поразило.

14 февр., воскр[есенье]. Париж.

Вчера была у Гёр. Я была ужасно расстроена все эти дни и плакала дорогой, когда ехала к Г... Но мне казалось, что я найду в нем что-то очень хорошее. Мне представлялся идеал кроткого старика, проникнутого любовью и горестью. Вхожу я

в час. Никого нет. Долго стояла, не зная, куда итти. Наконец услыхала, кто-то кашляет за какой-то дверью. Я постучала. „Аминь“—закричал голос громко.

— Извините,—начала я, отворяя дверь.

Я вошла; толстый сильный мужчина сидел за конторкой и что-то писал. Странно, что он мне показался совсем другим, чем в церкви.

— Что вам нужно?—сказал, приподняв голову и с видом суровым и нетерпеливым.

Такой прием окончательно сразил меня. Нервы мои и без того были в сильной степени раздражены. Я чувствовала рыдание в груди и не могла выговорить ни слова.—Ну,—сказал он, смотря на меня с недоумением и досадой.

Тут я не выдержала и зарыдала. Он стал смотреть в окно. В эту минуту кто-то постучался в дверь. Вошел какой-то работник и рассуждал с ним о покупке каких-то вещей и напечатании каких-то об‘явлений. О[тец] торговался, как жид. Эти рассуждения дали мне время притти в себя. „Ты русская“—сказал он мне по уходе [пост]ороннего человека.

— У вас, верно, есть духовник какой-нибудь. Зачем же вы не шли к м—eur В.“...

— Я вас прошу меня извинить, что я к вам; я это сделала по неопытн[ости], мне о вас говорили.

— Ничего, ничего,—ответил отец снисходительно,—но я думаю, что было бы гораздо приличнее вам итти к ваш[ему] духовнику.

Я стояла молча, опустив голову на грудь.

— Чем я могу быть вам полезен?—спросил он несколько мягче.

[Я] долго не могла говорить.

— Желаете получить какое-нибудь место? Денег нет у вас, нет родных, друзей?—начал скоро отец.—Или же согрешили против закона нравственности?—спросил он особенно строго.

[Я] вспыхнула и невольно подняла голову. Видя, что я не отвечаю, видя, что что-то другое, [он] не мог понять, чего от него хотят, наконец, как-то, должно-быть догадавшись, начал говорить о боге, но таким тоном, как будто говорил урок, даже глаза закрыл.

В заключение он мне сказал, что все мои мысли—это вздор. Что если есть на земле преступление и страдание, то есть и закон. А что страдают только ленивцы и пьяницы. А император Алекс[андр] — идеал государя и человека.

17 февр.

Мне опять приходит мысль отомстить. Какая суетность! Я теперь одна и смотрю на мир как-то со стороны, и чем больше я в него вглядываюсь, тем мне становится тошнее. Что они делают! Из-за чего хлопочут! О чем пишут! Вот тут у меня книжечка; 6 изданий и вышло в 6 месяцев. А что в ней? Lobulo восхищается тем, что в Америке булочник может получать несколько десятков тысяч в год, что там девушку можно выдать без приданого, сын 16-летний сам в состоянии себя прокормить. Вот их надежды, вот их идеал. Я бы их всех растерзала.

Среда, 3 марта.

Вчера была на лекции Philaret Charles и была поражена паясничеством этого господина. Войдя на кафедру, этот господин закрыл глаза и начал читать, размахивая руками... [1]), иногда для комизму, к величайшему удовольствию публики, кувыркаясь так, что едва не ложился на стол. Он читает так:

„Я Вам буду читать лекции так, как до сих пор никто еще не читал: никому в Европе не приходило в голову принять этот метод... Я Вам скажу о веке Люд[овика] XIV. Вы думаете, это великий век? Как же, подите-ка почитайте. Да, да, почитайте, почитайте... Недавно вот вышла книга одного немца, Вы чай, ее, не читали. Да, я уверен, что никто из Вас здесь не знает имени этого немца. Так вот Люд[овик] XIV, Вы думаете, пок[ровитель] наукам, искусствам, литературе? Ну да, он, пожалуй, любил искусство: Аполлона Бельведерского, Венеру Медицейскую, потому что это красота, солнце; а знаете, как он относился к живописи фламанд[ской] школы? Это, говорит, дрянь, что они там рисуют мужиков с трубками. Вы знаете, гол[ландцы] и ан[гличане]. Это

[1]) Не разобрано.

серьезный народ, они не много рисовали—некогда было, дел много, а если рисовали, так не гонялись за красотой, правды только искали. Солнца у них нет, так, немножко, капельку есть солнца. Это не всегда красиво, полуденные эти не очень любят, совсем не любят, ненавидят. Ну так Люд(овик) XIV, — у него все палачи были: главный палач, потом поменьше палач, маленький палач и самый маленький палач. Он вот как заботился о литературе: он говорил своему главному палачу: „Литературу запрещай, преследуй, жги". Иногда еще одного сожгли за книжку... Против его величества думаете? Против M-me Mentenon. О, это время было строгое, очень строгое, я очень рад, что не живу в это время, а то, пожалуй, с моим темпераментом плохо бы мне было. А романы теперь как пишут? Возьмите современный роман: с первого слова Вам покажется забавно, со второго—немножко скучно, с третьего и четвертого—заинтересуетесь, с пятого — непременно захотите узнать, что сделалось с такой-то и такой-то девочкой; это французский роман. Англичане так не пишут; их роман: проповеди, поучение. Над такими романами некоторые засыпают, а другие ничего, читают".

Говоря об ненависти между фр[анцузами] и англичанами:

„Я воспитывался в Англии, Вы не подумайте, что я англоман: чистейший француз; раз вошел я в церковь скромненьким таким мальчиком, стою в уголку, так они на меня все уставились, — догадались, что француз, потому что галстук не по-английски был завязан. Они уставились на меня. „Вон, говорят, чудовище". Ей богу (тут, чай, между Вами англичане, да мне все равно). Ну, теперь и англичане находят, что Мольер был не дурак. Мы тоже читаем Шекспира".

Сначала я очень хохотала; вскоре заметила, что и другие хохочут; только они хохотали другому — хохотали и хлопали; мне стало досадно.

Моя личность как-то обращает на себя внимание, и это мне надоело. Не то, чтобы женщины не посещали лекций или библиотеки — посещают, но физиономии их отличаются от моей. Это—женщины с цветами, оборками, с вуалями, в сопровождении маменек. Есть женщины и серьезные, особенно одна — нигилистка совершенная.

Я-то веду себя хорошо, а она хлопает, топает и кричит „браво“, и одета дурно; приходит одна, но на нее никто не обращает внимания, потому что не молода. Всем кажется естественным, что состарившаяся в ожидании судьбы дева соскучилась и от нечего делать ударилась в науки. Но мне покоя не дают, пристают всякий раз в антрактах: „Вы, верно, учительница английского языка? Вы иностранка? Вы живете для изучения каких-нибудь наук?“ Это мне надоело, так что в антракте, чтоб избавиться от вопросов, я берусь за книгу... „Письма из Франции“ и притворяюсь углубленной в чтение.

— Это у вас польская книга или греческая? Вы ведь иностранка? — непременно меня спрашивают.

— Не польская и не греческая, — говорю я, не поднимая глаз и краснея от злости и не желая сказать мою нацию, чтобы этим еще более не возбудить внимание.

— Ну, так какая же?

8 марта, вторник.

Скука одолевает до последней край[ности]. Погода прекрасная, из окна моего пятого этажа чудесный вид, и я сижу в моей комнате, как зверь в клетке. Ни английские глаголы, ни испанские переводы,—ничто не помогает заглушить чувство тоски. Я уже чаем хотела себя потешить, да нет, что-то плохо помогает.

17 марта.

Вчера была у Мачт. У него очень изящная квартира и большая библиотека из книг шведских, англ[ийских], фр[анцузских], рус[ских], полный комфорт. Он сидит перед камином и пописывает. Какая пошлая жизнь! А между тем, сколько я знаю молодых людей, которые трудятся, чтобы добиться такой жизни. Сколько сил, убеждений жертвуется для приобретения такой библиотеки и таких картин!

2 апреля.

Назойливая тоска не оставляет меня в покое. Странное давящее чувство овладевает мной, когда я смотрю с бельведера на город. Мысль потеряться в этой толпе наводит какой-то ужас.

3 апреля.

Вчера зашла в лавку; там никого нет; через несколько минут входит с улицы хозяин красный...[1]) в грязной блузе, с торчащим из носа табаком и немного подкутивши.

— Я заставил вас ждать, m-elle,— сказал он,— надеюсь, что я имел в вас хорошего сторожа?

Продавая бумагу, он вздумал дать мне два листа pour rien.

— Вы очень великодушны,— сказала я ему.

— Нет такого великодушия, которое было бы достаточно велико по отношению к девице,— отвечал он. Этот разговор происходил пресерьезно.

На-днях проходила я вечером улицу Medecin На углу Севаст. бульвара стояло несколько молодых людей и между ними хорошенькая молодая женщина с пышной тщательной прической и открытой головой. „Dites donc"—говорила она капризным голосом одному из молодых людей, положив руки ему на плечи. Эта картина врезалась мне очень ярко, и неизвестно, почему после этого я почувствовала облегчение от моих прежних страданий, какой-то свет озарил меня. Я ничего не знаю отвратительнее этих женщин. Я видела женщин с резкими жестами, наглым выражением лиц, и они для меня сноснее.

17 апреля.

На-днях я познакомилась с двумя личностями: с Евген[ией] Тур и Мар[ко] Вовчок. Евгения Тур услыхала обо мне от Корам, и просила ее меня прислать. С первого раза она совершенно очаровала меня. Живая, страстная—она произвела на меня сильное впечатление. И при всем уме и образовании . кая простота. При ней я не чувствовала той стесненности и натяжки, которая обыкновенно бывает при первом .акомстве, даже с людьми очень образованными и гуманными. ı говорила с ней, точно говорила с моей матерью. Мы плакали и целовались, когда она рассказ[ывала] мне о польских делах. С пер[вого] раза она пригласила меня жить вместе (она .ивет с сыном), обещала давать мне уроки фран[цузского] и анг[лийского] языка и говорить всегда по-французски. Потом

[1]) Два слова неразборчиво.

на лето пригласила гостить на дачу к своему другу и очень жале[ла], что прежде со мной не была знакома. Через день она ко мне пришла с своими приятелями, и мы в 5-м отправились на кладбище. Дорогой Лугинин, сидевший против меня, (которого мне особенно пред[ставляла] гр[афиня], и сказала ему: когда пойдете куда гулять—то заходите за M-lle Сусловой), старался меня занимать, но я слушала графиню, которая говорила с др[угим] господином.. Она не любит уступок. Я удивлялась ее энергии.

— Если в 20 лет,—говорила она о каком-то господине,—он мирится, когда я, которая столько жила, и в 40 лет у меня есть еще сила ненавидеть,—что с ним будет в 30 лет!—Он будет шпионом.

Потом господин, с которым она говорила, ей сказал, что консервативные идеи также имеют право существовать. „Вот то, о чем я много спорила—сказала она с жаром.—Действительно имеют право существовать, но не так, как у нас. Есть, напр[имер], партии консер[вативная] в Англии, во Франции, но не было примера, чтоб консер[вативная] партия стояла за кнут, как у нас; напротив, она иногда либеральней и гуманней революционных".

Она разорвала знакомство с Тур[геневым] за то, что он написал письмо госуд[арю], в кот[ором] говорил, что разорвал из уважения к нему все связи с друзьями своей юности.

К Маркович я пришла без всяких рекомендаций. Она приняла меня радушно и просто, сказала, что слышала обо мне хотела сама притти ко мне, да не знала адреса. На несколько минут она очаровала меня. Она предложила мне чаю, от которого я не отказалась потому, что испытывала страшную жажду. Потом скоро сообразила, что нужно было отказаться; ее любезность показалась мне манерой русской барыни, готовой всякого принять, напоить и накормить. Поговорив со мной, она меня просила (бог знает для какой цели) подождать, пока напишет письмо, потом понесла его на почту и опять попросила подождать, но я отправилась вместе с ней домой. Погода была хорошая, M-me Мар[кович] пошла проводить меня до омнибуса... Дорогой мы о многом говорили: о Гер[цене], о том, что она пишет и что я пишу и писала. Она больше о

том, как платят в журналах, покупала ли я себе летние платья, и по чем, и какие.

Вообще я заметила в ней какую-то холодность, осторожность, она как-то всматривается в людей. Видно, что это женщина рассудительная, хладнокровная, увлекаться она не будет. Гр[афиня] сказала, что эта женщина тонкая, но вначале я нашла ее не такой, по крайней мере со мной. Гр[афиня] согласна со мной, что это она холодная. Я невольно сравнивала двух женщин. Я думала, что с Мар[кович] я бы не заплакала, а вышло иначе: через день я пошла к ней по ее приглашению в назначенные часы, она мне обещала к этому времени приготовить те из своих сочинений, которые я не читала. Дорогой, проходя через узкий переулок, я встретила женщину довольно молодую, очень бедно, но чисто одетую, которая плакала. Она робко подошла ко мне. Я думала, что она хочет спросить у меня какую-нибудь улицу. „Дайте мне пожалуйста 2 су,—сказала она,—я ничего не ела". Ее очень порядочный и грустно покорный вид поразил меня. Я дала ей 1 франк, единственную бывшую у меня мелкую монету. Она поблагодарила и пошла прочь. Я пошла было своей дорогой, но эта встреча произвела на меня сильное впечатление; я подумала, не могу ли чем помочь этой женщине. Я вернулась и догнала ее. „Послушайте, сказала я ей,—может быть, я могу вам быть чем-нибудь полезна. Вы верно были больны или с вами случилось какое несчастие. Если вы умеете работать, может быть, я вам достану работу. Приходите ко мне". Я хотела записать свой адрес, но не нашла карандаша. Она мне сказала, что не может запомнить наизусть адреса и предложила зайти в лавку за карандашом. Я записала ей адрес и спросила лавочника, сколько должна заплатить за употребление карандаша. Сказали — ничего. Я поблагодарила и пошла. Я очень торопилась. „Я вас никогда не забуду",—с чувством сказала бедная женщина, прощаясь со мной. Мар[кович] я не застала дома.

Мать ее предложила мне подождать, сказав, что дочь уехала к Тур[геневу], и старалась дать мне почувствовать, что вчера Тур[генев] ждал ее дочь целых два часа и все-таки уехал, не дождавшись. Еще она сказала, что придет сегодня жена художника Якоби, хорошенькая, молоденькая, а главное хорошая,

по ее словам, женщина. Действительно, скоро пришла хорошенькая женщина. Я догадалась, что это Якоби. Мы разговорились. Она либеральничала, пускала мне пыль в глаза фразами очень неудачно. Наконец пришла Мар[кович] „Познакомьтесь",—сказала она нам. Но не сказала наших имен. Мы молча пожали друг другу руки. Мар[кович] сказала, что книг мне не приготовила— и опять заговорила о деньгах; потом стали рассматривать ее портреты, кот[орыми] она была очень недовольна. Неудачного нашла я в этих портретах только позу, драпированную в какой-то плащ, что не шло к некрасивой ее физиономии.

Заговорили как-то о Салиас; мне пришлось как-то сказать, что она у меня была. Они, верно, подумали, что я проговорилась с умыслом.—„Если вы будете у графини, то скажите ей, пожалуйста, чтобы она мне прислала мои книги".—Графиня Салиас?—спросила я. Она не обратила внимания на мой вопрос и заболталась до того, что, наконец, стало понятно, о какой граф[ине] идет речь.—„Извольте, я передам,—сказала я,— только позвольте узнать ваше имя.—„Ах, вот я какая неаккуратная,—сказала Мар[кович]... знакомила, а фамилии не сказала". „Якоби",—сказала хорошенькая женщина,—и как я не выразила удивления при этом имени, она, верно, подумала, что я так невежественна, что могу не знать этого имени и, смотря на меня с глубоким состраданием, предложила записать мне его. Я сказала, что и так не забуду. Она настаивала на том, чтоб написать, т[ак] ч[то] я, наконец, сказала ей, что я знаю эту фамилию, при этом я не могла удержаться от улыбки (я, конечно, не скажу гра[фине] о книгах, а хорошенькой женщине скажу, что забыла). Мне было ужасно грустно смотреть на этих „ликующих", „праздно болтающих". Меня приглашали пить кофей, но как я позавтракала перед этим визитом, то отказалась и пошла домой. Хозяйка заметила мою грусть и, провожая меня, стала спрашивать причину. Грусть моя увеличилась, нервы были слишком раздражены, я не выдержала—слезы навернулись у меня на глазах.—„Скажите, что с вами случилось?"—спрашивала M-me Мар[кович], с участием взяв меня за руку, и отвела меня в спальню. Я бессознательно следовала за ней и слезы невольно покатились из моих глаз; чувство бессилия и стыда терзали меня, я все свалила на уличную сцену и скоро

отправилась домой. Она мне сказала, что если буду иметь в чем затруднение, к ней обращаться.

— Какие ж могут быть затруднения в цивилизованном государстве,—сказала я, насмешливо и грустно улыбаясь.

— Однакож у вас было с вашей хозяйкой—сказала она.

Потом она сказала, что придет ко мне на другой день, несколько раз это повторила. Она пришла в назначенный час. Я увидала из окна, как она входила в калитку, и вышла встретить ее на двор. Я встретила ее со всей любезностью, но без всякого благоговения. Мы говорили с час, потом я пошла ее провожать, и мы еще долго говорили. Она напомнила мне об обещании моем дать ей мои произведения, и, так как у меня их не было, она взяла с меня слово притти к ней через неделю и прочесть свою повесть.

Лугинин во время прогулки на кладбище обещал мне составить список исторических книг, полезных для меня. Он хочет, должно быть, меня развить и пренаивно толковал мне об идеализме и материализме, когда я сказала, что не могу хорошо определить этих двух понятий.

Мар[кович] спросила, как меня зовут. Я сказала.— А мне сказали—Надежда Суслова,—сказала она.—У меня сестра Надежда...

3 мая 1864. Вторник.

Когда возвращалась из Брюсселя, я спала, под'езжая к Парижу. Единственная компаньонка, сидевшая со мной в вагоне, разбудила меня, когда вагон остановился. Я поспешно встала и начала собирать мои вещи. В вагонах почти никого не оставалось; кондуктор подошел к моему вагону и открыл дверь. „А вы еще здесь,—сказал и, видя, что я спешу, прибавил:—не торопитесь, будет время".—Я уже готова,—сказала я, подходя к двери. Он протянул мне руку, я охотно ее приняла и выскочила.—„Холодно"...—начал было он, но я уже бежала в вокзал.

8 мая, суббота.

Вчера была у Маркович. Она читала мою повесть (1-ю) ей она понравилась. Мар[кович] сказала, что эта повесть лучше

Салиас. Я ей читала ненапечатанную повесть, и та ей понравилась, только конец не понравился. Во время чтения Мар[кович] говорила: „Это хорошо! Прекрасно". В разговоре после того она сказала, что „нужно смотреть на людей во все глаза". Я ответила, что не могла бы, что это мне кажется цинизмом.

И в самом деле, что за радость смотреть и остерегаться на каждом шагу. Я и счастья, такими средствами приобретенного, не хочу. Это было бы деланное счастье... Пускай меня обманывают, пускай хохочут надо мной, но я хочу верить в людей, пускай обманывают. Да и не могут же они сделать большого вреда.

22 мая.

Сегодня я в первый раз встала после 2-недельной болезни, во время которой гр[афиня] Салиас оказала мне попечение материнское, и я еще более влюбилась в нее.

Лугинин и Усов часто ходили ко мне во время болезни, и я с ними много говорила. Один раз мы имели спор о русской национальности; оказалось, что они ее не уважают. В тот же раз Усов сказал, что ему нравится обычай диких: взрослым сыновьям убивать и есть отцов. Он говорил, что первое недурно бы принять.

Сегодня были у меня гр[афиня] Сал[иас] и оба эти господина. Гр[афиня] говорила о воспитании племянника, которого она отдает в школу в Швейцарии.

Между прочим она сказала, что есть одно зло швейцарского воспитания, что дети делаются космополитами. Лугинин начал утверждать, что это очень хорошо, что космополитизм очень хорошая вещь; не все-ли равно, что желать добра русскому, что французу. Он сказал, что с большим бы удовольствием послужил бы Франции или Англии, но остается в России, потому что знает русские обычаи и русский язык, но с русскими ничего общего не имеет, ни с мужиком, ни с купцом, не верит его верованиям, не уважает его принципов. „Я гораздо более радуюсь парижским ассоциациям, чем..." Я не дослышала, или он не договорил. Я была взбешена, но молчала. Гр[афиня] тоже молчала. Вначале только она отстаивала немного патриотизм, но только со стороны привычки. Когда гр[афиня]

заговорила о моем докторе, мне пришлось высказать некоторые мои мнения, противоположные ихним. Гр[афиня] мне с жаром возражала. Так вот каковы они! Нет, я не пойду с этими людьми. Я родилась в крестьянской семье, воспитывалась между народом до 15 лет и буду жить с мужиками, мне нет места в цивилизованном обществе. Я еду к мужикам и знаю, что они меня ничем не оскорбят.

15 июня. Спа.

Здесь хорошо. И вот чудо — немцы нравятся мне более французов. Хозяйка, голландка, закармливает меня тартинками и запаивает пивом. Едят они раз по пять в день. Хозяин — угрюмый, на душегубца похож, но добрый. Кроме меня у них жилец француз с женой. Хозяйка рассказывала, какие он делал с ней условия на бумаге (на 6 недель), удивлялась его недоверчивости. Условия, например, чтобы блох не было. Какая подлость, и как это похоже на француза! Кухарка, немка, пресмешное первобытное существо, наивное создание. Когда была дурная погода, она очень тосковала, что на родине [в] Мекленбурге погибнут les grains, посеянные ее отцом. Она даже хотела сбежать. Каким образом ее присутствие могло помочь les grains — неизвестно. Теперь она иногда подходит ко мне и спрашивает: „А что, m-elle, как вы думаете, будет завтра дождь?" Я говорю: может, будет,— но, вспомнив заветное les grains, прибавляю, что если и будет, то в одном Спа.

16 июля. Спа. 1864.

Письмо.

Дорогая графиня! Я надняx получила Ваше письмо и прочла его с особенным удовольствием. Вы такая добрая...

21 июля. Спа.

Теперь я всего более занята делами сестры, относительно ее образования. От этого также зависит мое пребывание в Париже.—Я почти [отдалась] этим маленьким делам и неприятностям. А то я начала уже возвращаться к моему убеждению, что жить незачем... Вот человек: то жить ему незачем, то он все ждет удовлетворения какого-нибудь каприза.

30 августа, Версаль.

Сегодня разговорились с Е[вгенией] Тур по поводу Свифта. Она сказала, что он был дурной и злой. Я говорю:—Он был озлоблен.— Чем, на кого? Что он терпел? Разве он не был богат и уважаем?—Это еще более оправдывает его озлобление, что лично он был счастлив.

— Чем же он был озлоблен? Что род людской нехорош; откуда этот низменный взгляд? Не доказывает ли он отсутствие высших стремлений? Отсутствие уразумения, что человечество назначено для высокой цели. Я знаю человека образованного, развитого, который был в Сибири, где его секли, и то верит и любит человечество. Значит, высокая душа.

Значит, мистик,—подумала я.

— А Свифт,—продолжала она,—который добивался места архиепископа, снедаемый честолюбием, и для этого менял партии.

— Может быть, он добивался, чтобы иметь влияние.

— Какое влияние? Вы говорите, чтоб противоречить.

Я не спорила. Может быть и правда, что он был глупо честолюбив, но разве за это можно обвинять? Это грустный факт, но нам обвинять, не имея доказательств! Я слишком уважаю людей, которые страдают даже несмотря на материальное довольство и личное счастье, я понимаю это страдание.

Раз она при мне бранила девушку, которая не вышла замуж за хорошего человека, которого не любила, но с которым верно была бы счастлива. Я вступилась за девушку и говорю, что урезывать своих требований нельзя.—Ну так вот и сиди старой девой с ведьмой матерью.—Тем более я уважаю эту девушку, что при дурных обстоятельствах она не пошла на сделки.

Она меня упрекала за хандру, представляя выгоду моего положения перед другими девушками. Как будто в моей грусти есть об них вопрос.

Потом она напала на Помялов[ского] за его любимую мной фразу, говоря, что человек создан для исполнения обязанностей, а не для наслаждения. Обязанности! Какие обязанности у частного человека перед обществом, что он может сделать для него?

15 сентября, Париж.

Сегодня был лейб-медик. Он говорил, что читал „Накануне“ и восхищается счастьем Инсарова.—„Неужели, говорит, есть такие девушки?“ — Я говорю, что удивляюсь встречать в нем, в медике, внимание и интерес к художественным произведениям. Он доказывал, что не химия, а они (худож. произведения) воспитывают людей. „Я теперь прочитал и имел такие минуты, что не даст никакая химия“.

— Да, я понимаю, что можно иметь минуты.

— Эти минуты западают и составляют развитие.

Потом мы говорим о Пек., о Стоянове, о Лугинине, которого он назвал русским жирондистом. Он рассказывал, что когда встретил его в первый раз, Лугинин сидел над книгой Прудона о федерализме, которую только-что прочел и толковал, что патриотизм и национальность — вздор. — „Молодец Лугинин, прочел Прудона и баста, значит готов“.

С самого моего приезда я почти все молчала за обедом. С одной стороны, сидели старухи, с другой — студент с любовницей; стал ходить обедать вскоре после моего перемещения; но с некоторого времени около меня стал садиться, отделяя от меня старух, какой-то господин, который болтал, болтал и наконец вызвал меня на разговор, в который вмешался и студент. Господин слева спросил, что читаю, и узнав, что историю, рекомендовал несколько книг; одну из этих книг студент предложил мне взять у него. Я, по обыкновению, вышла из-за стола тотчас, по окончании обеда, и пошла в сад. Проходя мимо Робескура, должна была остановиться, потому что он со мной заговорил. Едва я вошла в сад, как вышел студент со своей дамой и отдал мне книги. Дама тоже старалась принять свое участие; во время обеда она обертывалась в мою сторону с беспокойством. Эта дама заискивает как-то моего расположения: передает через своего кавалера мне блюда и прочее. Я ей отвечаю любезно. Англичанка не ходит обедать вниз на том основании, что должна сидеть с публичной девкой за одним столом. Это слишком. Отношения у студента с дамой трогательные. Она уступает ему за столом свои кусочки; наливая себе вино, сперва наливает ему, но отчасти она исполняет его прислугу: метет и убирает его комнату.

21 сентября.

Хозяйка выводит из терпения: тысячу раз прошу убрать комнату, а она не делает этого, хотя всегда обещает; просто не обращает внимания, как-будто шутя все обещает. Прислуге также дала денег и это не помогает.

Marie как-то взяла башмаки чистить, мне понадобилось итти; и уж искала, искала я ее с этими башмаками, лакей помог мне отыскивать, закричал ее, чтобы подавала башмаки Сусловой, она откуда-то с седьмого неба грубо отозвалась, что ей некогда, и я должна была итти в нечищеных, которые взяла сердясь. На другой день, взяв мои башмаки, она сказала шутя, что не сделает по-вчерашнему, и я же покраснела. В другой раз она забыла дать мне завтрак, и на другой день точно так же сама об этом напомнила, и я же стала ее перед ней оправдывать.

На-днях был лейб-медик. Он рассказывал про гувернантку, которая его просила вылечить от седых волос. Я ему сказала, что и у меня седые волосы.

— От несчастия!— сказал он.

Это меня так сильно взволновало.

— У меня не было несчастий,— начала было я, на минуту преодолев себя, но слезы хлынули на глаза и мускулы лица задрожали еще более.

— У всех они бывают,— сказал он, повидимому, тронутый.

Я пыталась заговорить, но не могла преодолеть себя.

— „Вам можно помочь, в ваш возраст это возможно, заговорил он.

— Неужели вы думаете, это меня огорчает?— сказала я с насмешливой грустью и все еще смотря в сторону.

— Нет. Я так только, чтоб что-нибудь сказать,— сказал он взволнованно и тоже смотря куда-то не на меня.

24 сентября.

Вчера лейб-медик был, и я занималась с ним фр[анцузским] яз[ыком]. Я была в веселом расположении, так что держала себя как-то не солидно. Просто нервы были расстроены. Он мне заметил, что я рассеяна,—верно думаете о Валахе (я перед этим что-то говорила о Валахе). Мне стало досадно, и я не умела ответить, но я в следующий раз постараюсь держать

себя солиднее. Он заметил, что у нас в саду молодежь гуляет и спросил, всегда ли это так. Я ему сказала, что когда я в саду, то никто не гуляет, и если и проходят мимо, то стороной, что они меня боятся и это хорошо: нужно чтоб кого-нибудь боялись.

Сегодня ездила к m-me М[аркович] и дорогой встретила его. Проезжая в коляске мимо гошпиталя, я увидела несколько молодых людей, вышедших у ворот, тотчас вспомнила о нем и в самом деле его увидела. Он выбежал к воротам без шляпы, растрепанный, с помятым лицом, некрасивый. Он тотчас узнал меня, хотя я была за вуалью (я была вся в черном, исключ[ая] шляпки) и в смущеньи повернулся к своему товарищу (я глазом не моргнула). Это меня начинает занимать. И вот после этого я целый день взволнована. Мне было досадно на себя за это волнение. Неужели я его не забуду? И я приходила в отчаяние. Но отчего приходить в отчаяние, лучше ли бы было, если б я его забыла, лучше что ли мне было зиму, когда я его не видала? Лучше ли даже было мне в наше время? Я помню ночи, когда я вдруг просыпалась, в ужасе припоминала происшедшее днем, бегала по комнате, плакала. Лучше ли? Может тогда, когда в первый раз услыхала от него слова любви, или когда в первый раз он обнял меня. Отчего было тогда хорошо? От того, что ново, неожиданно. И можно ли желать, чтобы всего этого не было? Пустота была бы или другая ошибка, может быть, более бесцветная. И как могло бы быть лучше с ним? Хорошо было бы, если б до сих пор мы вместе оставались, даже если б я была женой его? Это такой прозаический барин. И чего хочу я теперь от него? Чтоб он сознался, раскаялся, т.-е. чтоб был Ф[едоро]м М[ихайловиче]м [1]). Что же бы тогда было, между тем как теперь я имею минуты такого торжества, сознания силы.

Мне говорят о Ф[едоре] М[ихайловиче]. Я его просто ненавижу. Он так много заставлял меня страдать, когда можно было обойтись без страдания.

Теперь я чувствую и вижу ясно, что не могу любить, не могу находить счастья в наслаждении любви, потому что ласка

---

[1]) Слово неразборчиво.

мущин будет напоминать мне оскорбления и страдания. Новое может меня занять и то до известных пределов.

На-днях, после обеда, вышла я в сад, за мной (в первый раз) вышел Валах и стал говорить, как приятно ему меня видеть. Я заметила, что верно не слишком приятно, когда не был в Версале. Он об'яснил, что у него был экзамен. Мы долго говорили, и когда я пошла домой, он крепко жал мою руку. Он простой, наивный, это новизна.

Когда мы говорили, другие молодые люди ходили мимо и меньше говорили с девицами. Дамы с любопытством заглядывали на нас. На другой день я не пошла в сад.

29 сентября.

Больна. Валах бывает через день аккуратно. Лейб-медик всякий день. Главной причиной болезни была, кажется, встреча с плантатором.

Я сказала лейб-мед[ику], что была взволнована одной встречей. Он этому придал большую важность и был грустен. Я тоже бывала часто грустна и взволнована, и он часто, прощаясь со мной, был в волненьи, всякий раз по нескольку раз принимался крепко жать мою руку, предлагал свои услуги; уходя, оборачивался в дверях, чтоб еще раз взглянуть на меня. Раз он мне сказал, что в известный день придет m-me Маркович, и она пришла, когда мы занимались с лейб-медиком французским. Она пробыла несколько минут и как-то странно себя держала. Мало очень говорила, сказала, что ее ждут в Пантеоне. M-me Якоби говорила о том, что сын ее учится русскому языку, она сказала, что не заботится, чтоб он знал точности русских выражений. Такого тупоумия я от нее не ожидала. Хоть это и мода, народность, но нужно же понять смысл. Уходя она спросила, какой улицей итти. Лейб-медик взялся ее провожать. Она отказывалась, говоря, что и не в этакие места хаживала одна, но он сказал, что ему нечего более у меня делать, и они ушли.

Сегодня мы с ним очень разболтались, хотя вначале он был грустен. Я сказала, что, кажется, m-me М[аркови]ч мною не довольна. Он поспешил меня разуверить. Я сказала, что m-me Якоби, кажется, фразерка. Он подтвердил. Я спросила: его

знакомые, откуда они: из Америки или из Испании? Он отвечал, что все из Америки, рассказывал очень остроумно о их характере, говоря, что они нравятся дамам французским. Я спросила, чем? Он отвечал: наружностью—молоды и хорошо одеты, глаза вот по этакому стакану. Зубы такие белые, перчатки свежие и ботинки хорошие.

— О, какой Вы злой,—сказала я.

Он сказал, что я еще не знаю его.

Он спросил, для чего мне, хочу ли я познакомиться? Я сказала: нет.— Не хочу ли я брать уроки?—Я сказала, что у меня есть американка. Чтоб сказать что-нибудь, я сказала, чтоб он спросил, какие там книги в Испании, романы, и прибавила, что они верно не знают.—Нет, это знают, сказал он, у них салонное образование—есть. Мы очень развеселились, я это заметила, он согласился, прибавив, что пришел очень расстроенный и злой. Я спросила причину. Он сказал — столкновение с долгом, говоря, что долг иногда исполняется из трусости, а иногда из того, что какое же право имеем мы возмущать чувства других. С Валахом мы говорили о Прудоне, Герцене, которого я читала.

Потом он мне рассказывал о Молдавии. У них также, как и у нас, в обществе подражают французским модам и говорят по-французски. Он мне обещал принести Расина.

1 октября.

Вчера была у меня m-elle Jullette. Она грустная почему-то, я это ей заметила. Она согласилась. При ней пришел Валах и посидел немного, простился холоднее обыкновенного, хотя я на прощанье была любезна, приглашала приходить. Мне почему-то показалось, что он причиной грусти Jullette. Он меня спрашивал о моем докторе. Рассказывая, я разговорилась о том, как этот молодой человек много знает. Валах сказал как-то серьезно, что ничего нет мудреного знать: когда читаешь, так и узнаешь что-нибудь.

Потом была англичанка, предложила мне чаю и прислала. Дрянь она и сплетница, в ней все худые (английские) качества,

английские с прибавкой общечеловеческих и нет при них английских качеств. Вчера я к чему-то сказала, что мне дадут диван, когда один из жильцов уедет. Она оживилась. „Кто уедет? Когда?“ Я не могла удовлетворить ее любопытству. Потом вдруг с ужасом рассказывает мне, что у m-lle Stward любовник (это дело m-elle Stward кажется, не наше).— Но она не ночует дома!—с ужасом продолжала англичанка.— Так что-же, нам с ней не детей крестить. Если б m-lle S[tward] была сестра моя, с ней-бы еще можно было мне поговорить об этом. M-elle же S[tward] не дитя, верно знает, что делает, и нам дела нет до нее и даже знать-то не нужно и неприлично о ее поведении. Она хочет уйти в другой дом, где все старики и старухи, там уж должна преобладать нравственность. Любовниц и любовников быть не может, но чем же виновата бедная m-elle Stward? Я думаю и она, так же, как и другие, не будет иметь любовника, когда состарится. Англичанка еще колеблется переходить, потому что в том доме грязь и теснота. Итак, она поставлена выбирать между нравственностью и удобствами. Потом она мне говорила о нрав[ственности] девочки, живущей в глубине сада, которой никто никогда не видит.—Да мало ли кто может жить в доме?—Но в Англии дома, где по одному семейству живут. Муж этой англичанки такой смешной, только и делает, что бегает по Парижу; раз пять в день бегает и возвращается с бутылкой или двумя под мышкой. Куда б я ни пошла, всегда почти его встречаю или догоняю, он бежит по средине улицы, с'ежившись и скорчившись так, как будто посторонняя сила его несет. По временам он бросается направо и налево, ткнется носом в какой-нибудь магазин, отскакивает и опять несется далее. Иногда он гуляет с женой, [на улице] я их не встречала вместе; но двором он идет без своего обычного полета, но как-то еще более с'ежившись, плетется за хвостом своей бретонки. Он кажется принимает немалое участие в бабьих сплетнях.

6 октября, пятница.

Идя на урок, встретила поляка, который, бог знает зачем, был у меня два раза. Первый раз он спрашивал какую-то даму, я ему отвечала из дверей очень сердито; в другой раз

он пришел сказать, что получил распечатанное письмо, спрашивал, не я ли его распечатала. Я его пригласила в комнату, выслушала, и когда он кончил о письме, спросила, вставая, все ли, что он имеет сказать? Он смутился, встал и раскланялся. Сегодня, проходя мимо Ecole de Medecine, слышу за собой: „Мое почтение"; не оборачиваясь иду далее. „Мое почтение" повторяется и вслед за ним является поляк, говорит мне, что, проходя мимо него, я улыбалась, верно смеялась над ним и смеюсь. Я отвечала, что его не заметила.— А я вас заметил,— сказал он,— потому что имею интерес.— Я на эту пошлость не ответила. Потом спросил, не сержусь ли я на него за то, что он два раза приходил. Я ответила, нет, потому что думаю, что он пришел по серьезным причинам. Он начал мне говорить, с какой ловкостью я его выпроводила, так, что он не нашелся, что сказать, хотя имел желание поговорить. Он еще продолжал довольно пустой разговор, когда я поровнялась с домом, где живет m-me B.

Я сказала: прощайте, и перешла на другую сторону. Он остался, но вскоре побежал ко мне и сказал: „Вы опять отделываетесь от меня с такой же ловкостью". Я ответила, что мне нужно итти в этот дом, в котором и скрылась вслед за этим.

Вчера перед обедом в нашем саду встретила Валаха и разговорилась с ним. Сказала, что покупала чай, что я пью чай от скуки, что он заменяет мне все: удовольствие, друзей. Он заметил, что верно не очень хорошо заменяет. Я согласилась. Потом он спрашивал, какую нацию я больше люблю и сказал: „нужно любить соседов валахов". Я ответила, что их не знаю, что они ничем себя не показали, „мы, русские, хоть дурные, да показываем себя".

9 октября, вторник.

Вчера, идя на урок (исп.) встретила на Rue Medecins Плантатора; он шел по другой стороне улицы с тем самым товарищем, с которым разговаривал подле гошпиталя. Он шел, разговаривая и усмехаясь и так низко наклонившись, что я едва узнала его; вероятно, он заметил меня прежде, нежели я его увидела.

Несколько дней тому назад я написала очень интимное письмо лейб-медику, когда он меня не застал дома. Он отвечал на него письмом, холодным до грубости, где говорил, что у него нет довольно времени ходить ко мне (два раза не застал меня), предлагал приходить один раз для уроков и для консультаций, просил сам назначить дни и часы с условием только не вечером, потому что вечера он посвящает отдыху. С этим вместе назначил день прихода и цену уроков. В назначенный день, он явился с видом . . [1]) и стал спрашивать о здоровьи. Я ответила и взяла было тетрадь, говоря, что вот занималась. Он вдруг сказал, что не может заниматься и пошел. Я все еще не хотела верить его фатовству и спросила, не сердится ли он на меня. Он сделал удивленные глаза и спросил, откуда у меня такая мысль. „Верно борьба с долгом кончена и добродетель победила" — подумала я. Меня неприятно поразил этот тон; не в состоянии скрыть своей грусти, я отвечала, что, может быть, ошиблась и потом прибавила, грустно улыбаясь: „Подите же, подите". После этого, придя в назначенный день, он тотчас начал с важным видом расспрашивать о здоровьи, но вдруг небрежно прервал разговор и предложил заниматься. Садясь, он показал мне часы. Я смотрела на него с удивлением и любопытством, но вдруг какая-то грусть схватила мое сердце. Я почувствовала себя оскорбленной глупцом и едва могла удерживать негодование, некоторые идеи читаемой книги увеличили мое волнение. Так что к концу я должна была выйти из комнаты, чтоб скрыть его. Когда он ушел, я плакала. Бедное сердце! Не выносит грубых прикосновений. Этот случай навел меня на серьезные мысли. Я, конечно, поступлю решительно и выйду с честью, потому что ничего не прячу и не виляю.

Но сколько же сил тратится на то, чтоб отражать такие маленькие нападки!

M-me Робескур больна, вчера сделался нервный припадок, весь дом был встревожен, и всю ночь бегали за докторами и за лекарствами. Я хотела пойти к ней, но не знаю, как это сделать, будет ли это ей приятно. Он был за завтраком, пришел к концу, ему пришлось сидеть подле меня. Он спросил

[1]) Одно слово не разобрано.

меня о здоровьи, его все стали спрашивать о его даме, он спокойно отвечал, что ей лучше. Я тоже думала спросить о ней, но не пришлось, было неудобно.

19 октября.

С лейб-медиком почти помирились. Я ему сказала после этого, что я не помню его визитов, что не хорошо их считала и в этом виноват он, его непоследовательность; напомнила, что он когда-то денег не хотел от меня брать даже, но теперь, когда комедия кончена, можно быть точным. Он был озадачен и сказал, что никакой комедии со мной не играл, хотел оправдываться, но я просила его отложить хотя до следующего раза: я была слишком взволнована. При следующем свидании я была весела, и он после некоторого разговора начал так:

— Вы теперь в хорошем расположении духа, так что можно возобновить прошлый разговор.

— Зачем? — сказала я. — Вы мне сказали, что комедии со мной не играли и прекрасно, значит, кончено, я обязана вам верить. Я сознаюсь, что не имела даже прав говорить то, что было мною сказано, я это сказала только потому, что уж много с вами говорила.

— Но скажите ради бога, без обязанностей, — думаете ли вы, что я хотел вам сделать неприятность?

— Вы могли даже не знать, что мне может сделать неприятность.

— А вы знаете, что мне делает неприятность?

— Вы хотите сказать, что были со мной просты.

— Я не скажу этого, потому что была бы слишком прозрачная ложь, я скажу только, что у меня были причины, которых вы не знаете. Вы десятой доли того, что есть, не знаете...

Он говорил с жаром, и мне было его жаль. Он спросил меня, не неприятно ли мне, что он ко мне ходит, что он может оставить меня.

— Нет, — сказала я, — зачем?.. И зачем только вы меня спрашиваете об этом, вы будто не знаете, что мне приятны ваши посещения, — добавила я сколько возможно спокойнее.

— Да, но оно могло стать неприятно.

— Я ему сказала, что приехал один знакомый русский, Утин, что у него здесь никого нет, следовательно он будет часто ко мне ходить.

— Зачем же здесь следовательно,—сказал он серьезно.

Я не поняла его и наивно переспросила.

Когда он повторил так же серьезно, я догадалась и сильно покраснела.

Утин, услыхав от меня его имя, сказал, что брат его не хороший человек. Это меня поразило и осветило его многие поступки.

19 октября, четверг.

Сегодня за завтраком один француз сказал мне, что перед моим приходом у них был спор, где лучше жить, в деревне или в городе; он сказал мне, что m-eur R. стоит за город, но он за провинцию. Я сказала, что удивляюсь m-eur Робескуру, что я не люблю большие города, где нельзя иметь ни дружбы, ничего. Он говорил, что боится застыть в провинции, где ни науки, ничего. (Будто нельзя читать книжки.) А я думала, что жизнь больших городов — жизнь стада, но не жизнь индивидуальностей, что человек должен быть человеком прежде всего, а потом гражданином и после уже ремесленником и ученым. Что мелкая жизнь городов, подчиненная мелкому интересу, плохое развитие для личности.

20 октября, пятница.

Вчера вдруг является молодой С[алиас] от матери с запиской, где она уведомляет, что в этот день придет ко мне. Я его пригласила. Мы говорили вздор. С[алиас] все-таки мне не понравился, хотя я и не ожидала, что он особенно мне понравится, но все-таки ждала лучше: он какой-то вялый. Правда, грузин неразговорчив, но это не то. Вместе с тем он старается зарекомендовать себя: не то чтобы *казаться* тем, что он не есть, но показать, что он понимает то и то, но он может казаться довольно простым. Он мне сказал, что, ища меня, встретил какую-то старушку, которая верно служила во время оно, но теперь накопила деньжонок и живет в свое удовольствие.

Утин в тысячу раз его лучше; живой, смелый, умный мальчик. Грузин всех их лучше.

Вечером пришла Ев[гения] Т[ур] с сыном, пришел У[тин] и груз[ин], который пришел раньше всех; не ожидая встретить столько лиц и увидя Ев[гению] Т[ур] с сыном, сказал мне тихонько: „Я хочу удрать".— Нет уж теперь поздно, нельзя,— сказала я ему комически. Он остался Ев[гения] Т[ур], разумеется, говорила больше всех и я встретила взгляд, который допытывался, почти спрашивал: „какое впечатление произвел В[адим]".

Сегодня я, чтоб видеться с г[рафиней] пошла к ее кузине и нашла там всех вчерашних (исключая груз[ина]); болтали вздор. Они очень уж подружились за это время. След[овательно], я их облагодетельствовала, познакомив.

С В[адимом] я сказала несколько слов насчет языка, при чем одушевилась.

Утин спросил меня об Алхазове. Когда я пошла домой, со мной вместе шли У[тин] и В[адим], говорил о Испании. „Это прошедшее",—сказал,—он но его можно сделать настоящим",— сказал справедливо У[тин].

— Нет, это уж будет не то, это все равно, что второй раз жениться, что второй раз любить, любить можно только однажды.

— Это очень печально,— сказал У[тин].— Вы так рассуждаете, потому что вы молоды.

— Это очень несправедливо,— подумала я. Я привела Лук[рецию] Флориани, которая много любила, и ей всякий раз казалось, что она любит в первый и последний раз. В[адим] сказал, что это еще впереди для него и очень далеко.—„Будь готов к смерти на всякий час",—заметил У[тин]. Но тот упорно отрицал. — „Вы хороший христианин,— заметил ему Утин. — Смерти не боитесь".

Какое это понятие грубое и чувственное.

Они проводили меня домой. У ворот я хотела прощаться, но В[адим] предложил провожать дальше.— Хотите итти ко мне в гости?—спросила я. Они отказались. Когда я протянула на прощанье руку У[тину], он крепко ее сжал и не выпускал. Я посмотрела на него с удивлением. Я его пригласила

к себе, говоря, что каждый вечер дома. Потом я обернулась к В[адиму] и сказала, что надеюсь с ним видеться часто. На дворе нас обогнал Валах. Он мне показался печальным.

Сейчас смотрю в окно, что выходит в сад, и вижу, идет Жюли с одним из валахов, самым некрасивым. Они были ко мне спиной, и мне казалось, что она плакала. Я стала смотреть пристально. Жюли вскрикнула и упала вверх лицом. Валах посмотрел на нее, потом спокойно перешагнул через ее ноги и позвал хозяйку. Та вошла в сад, взглянула издали, сказала с досадой: „Comme c'est inutile" и позвала прислугу. Лакей и горничная втащили бесчувственную Жюли в залу и кажется, что оставили одну, потому что вскоре я слышала как хозяйка с этим валахом разговаривала весело. Слова валаха, долетевшие до меня, были: mauvais sujet. — Придете обедать? — спросила его хозяйка. — Не знаю, отвечал он — какой будет у вас обед. — Она стала вычислять блюда. Больная была одна. Это не так, как в первый раз. Повторение всегда неудачно.

В тот же вечер.

С тех пор, как Роб[ескур] мне сказал, что едет, и до сегодняшнего дня я все собираюсь попросить у него его портрет, но как-то не пришлось. Я надеялась, что он придет проститься. Сегодня он должен был ехать и пришел ко мне. Я сказала, что жалею его, и попросила его портрет. Он сказал, что у него нет, но что он мне его пришлет и попросил у меня мой. Я ему дала. Я ему хотела дать книгу, но он попросил ее оставить в знак памяти. Тут вошла англичанка; увидя постороннего, ретировалась было, сказав: „pardon", но я попросила ее войти. Она вошла и посидела. Мы поболтали. Я рассказывала об У[тине]. Англ[ичанка] скоро ушла. Робескур потом сказал мне, когда мы остались вдвоем, что в апреле он приедет и постарается меня отыскать. Потом просил меня писать изредка и, если я буду в Нанси, видеться с ним. Он мне оставил свой адрес. Потом, уже совсем уходя, он сжал мою руку и поцеловал ее. Тут я стала что-то говорить, и голос мой дрожал. Он снова поцеловал обе мои руки. Я взглянула на него, и рука моя обвилась вокруг его шеи, наши губы

встретились... Затем начался бессвязный разговор, прерываемый поцелуями. Он весь дрожал и у него было такое счастливое, улыбающееся лицо. Я тоже чувствовала себя счастливой, но прерывала пламенные об'ятия просьбами меня оставить. Я его отталкивала, то вдруг с увлечением протягивала ему руки. Он спрашивал, хочу ли я, чтоб он не ехал в Нанси, и когда ко мне притти. Я сказала, завтра вечером. Несколько раз начинали мы снова прощаться. Я его гнала, но он упрашивал еще хоть один поцелуй, наконец, я сама нашла его шляпу и отворила дверь. После его ухода, я немножко оправилась и со щеками, пылающими от поцелуев, пошла к англичанке. Возвратясь от нее, я вскоре услышала на лестнице голос M-me Роб[ескур]. Я подошла к окну и увидала, что она шла по двору с ним, сопровождаемые прислугой с мешками. Он вернулся и что-то говорил с хозяйкой. Голова моя идет кругом; я не знаю, что из всего этого будет. Мне кажется, он меня любит, я даже была уверена в этом за два часа до сих пор, пока не слыхала голоса M-me Р[обескур]. Его лицо было так неподдельно счастливо. И этот трепет и дрожание голоса.

23 октября.

Валаха нет и нет от него писем.

Вчера был лейб-медик. Я ему сказала, что прекрасный испанец — дрянь. Он возразил, что это слишком решительный отзыв. Я сказала: „Конечно, но все-таки он плох. И мне сказали, что он красив, — нимало". — „А брови, брови чего стоят, шириной в мой лоб". Потом я ему сказала, что облагодетельствовала троих особ, познакомя их между собой. — „То-есть способствовали распространению цивилизации", — сказал он.

О Печорине он сказал, что он такой же фат, как Груш[ницкий]. Это сравнение меня поразило, потому что я перед этим думала точно то же.

Утин защищал В[адима], сказал, что долго говорил с ним и нашел его ничего. Он был поражен моим отзывом, который не был так резок.

Сегодня была англичанка и с негодованием сообщила мне, что m-me Кобриньо обшивает кружевом чепцы для бедных

и что в Париже по костюму нельзя отличить, к какому классу принадлежит особа.

2 Ноября.

Были Усов и Утин. Утин к чему-то сказал, что английская нация узколобая. Усов вступился за англичан. Утин сказал, что политическое их значение теперь пало, так как они были побиты и в вопросе датском и в вопросе польском.

— Да ведь это ничего не значит. Внешняя политика теперь пала. Они держатся принципа невмешательства. Теперь и Люд. Напол[еон] выводит свои войска из Рима.

— Да, хорош принцип невмешательства; сегодня выводит, а вчера дрались в Мексике; погодите, если завтра не будут драться где-нибудь.

— Это так, все-же этот принцип невмешательства доказывает направления умов А[нглии]. В Англии до того распространена свобода, что едва ли где может быть.

— Да, все в руках промышленников.

— И работники свободны.

— Да, благоденствуют без власти капитала, без денег.

— Вот без капитала у них капиталы огромные, они живут лучше наших чиновников.

— Они? что вы говорите! Отчего-же у Тэна на каждой странице об этом бедствии. А откуда этот голод?

— Да, это потому, что тут есть одна маленькая вещь, это что не всякий может быть работником.

— А вот то-то и есть, значит к тому же и пришли.

— Нет, не к тому же. Это положение улучшается. Теперь каждый работник может быть собственником.

Это ведь весьма малый процент.

— Что-ж тут правительство сделает? Правительство не может вмешиваться. Это хорошо, что оно не вмешивается.

— Мы видим, как это хорошо. Отчего ж оно помогает буржуазии? Нет, тут борьба слишком неравная, когда на одной стороне все, а с другой ничего, и вы увидите при следующем перевороте, который должен случиться, потому-что готовится.

— Я не могу отрицать, что не случится. Все может случиться. Но я не поклонник революции, мне кажется, давно

было пора бросить эту мысль, что революцией только и можно добиться путей; конечно, в стране, как Россия, где шестьдесят миллионов жителей невежд, и если между ними один образованный и ему затыкают горло, — всякое средство хорошо, но там, где есть хоть какие-нибудь задатки — непростительно. Вы посмотрите, что современем выйдет из этого скромного начала, которое сделало такие огромные успехи в короткое время. Мы его не замечаем, потому-что привыкли к эффектам. Нам нужна революция. (Я не радуюсь революции, но смотрю на нее, как на печальную необходимость.)

16 Ноября.

Эти дни каждый вечер была у гр[афини], у ней был Бак[унин?] Он мне понравился.

Без веры ничего нельзя сделать, говорил он однажды, но вера иногда убивает. То, что относят небу, отнимается у земли.

На-днях как-то лейб-мед[ик] попросил у меня денег; ему это было, видно, трудно. Я ему тотчас дала в форме самой милой. Он был рад. Мы очень много говорили. Под конец, уходя, он начал говорить так: „Талейран сказал, что слово дано для того, чтоб затемнять мысль, а Гейне — что для того, чтоб говорить любезности. Кто из них прав? Теперь вопрос, нужно ли говорить“. Я его не поняла. . . . . Вскоре он ушел. Я догадалась только после. Вчера он был очень мил. Он простой и милый. Его нельзя полюбить до безумия, но им можно увлечься страстно.

Вчера, когда кончили урок, он захотел сесть ближе к огню и предложил мне подвинуться к камину. Я отказалась, потому что у меня болела голова. — Ну, так и я останусь, сказал он и снова, через несколько времени, стал предлагать подвинуться.

— Подите один,—сказала я.—Не все ли равно, что за каприз! Мы и так можем говорить.

— Да, именно каприз, но это ничего, каприз—хорошая вещь.

И откуда у него была такая храбрость?

Я пошла к камину, но он поставил свой стул довольно далеко. Увидя хлеб, он попросил позволения его есть. Я согласилась и сама стала есть с ним, предложила чаю, но он

отказался, сказав, что я буду хлопотать, тогда как он хотел говорить со мной, притом нужно итти на лекцию.

— Можно и не ходить,— сказала я.

— И то, можно, — сказал он радостно, — но спохватился и печально прибавил: „нужно“.

Я не настаивала. Он ничего особенного не сказал, но, прощаясь, так просто и наивно благодарил.

Раз, говоря о красивом греке, я сказала, что в первую молодость не обращала внимания на красоту и что первая моя любовь был человек — 40 лет.

— Вам тогда было 16 лет, верно,—сказал он.

— Нет, двадцать три.

19 Ноября.

Сегодня был Вадим. Мы говорили о любви.

— Какой у нас нежный разговор, — сказала я, — впрочем, самый приличный.

— Нет, неприличный.

— Как же с женщиной говорить о любви, о цветах, стихах?

— Стихи и цветы — глупость, а любовь — вещь серьезная, существует от начала мира, и тот, кто ее не ощущал, — не достоин названия человека.

— Цветы и стихи тоже давно существуют, и кто не ощущает их прелести — не человек.

30 ноября. Середа.

В воскресенье была в концерте парадном с Carrive. Оттуда шли пешком и говорили. Я его спрашивала о его родине, куда он скоро собирается, и не добилась хорошенько толка.

Он мне сказал, что пойдет по следам своего отца, будет обрабатывать землю, будет иметь семейство, а, может быть, и получит место где-нибудь в городе.

Перед этим случилась со мной история: русский доктор, недавно приехавший, повел себя со мной так, что я должна была ему отказать от дома. Carrive у меня его видел и в субботу, спросил о нем. Я сказала, что принуждена была его выпроводить, что я считаю его глупцом. Он сказал, что именно то об нем подумал. Он был доволен, что я ему сказала.

Я буду знать, как себя держать с ним (они встречаются в гошпитале); я ему ответила, что его ни о чем не прошу.

— Я его вызывать на дуэль не буду, — сказал он, но все-таки мне лучше знать, что за человек.

Он мне предложил ехать вместе в С.-Жермен, и я с удовольствием согласилась.

Вчера, когда я брала урок по фр[анцузски], пришли Вадим и У[тин]. Они как-то с шумом вошли и, увидав, что не во-время, будто сконфузились, однако, попросили позволения остаться пять минут и поговорили немного. Когда я просила Вад[има] сказать матери, что в этот вечер не могу ехать в Шатль, Ут[ин] посмотрел на меня с такой улыбкой, что мне захотелось в этот вечер пойти к графине показать, что мне нет особенного интереса остаться дома, но я не пошла. Прощаясь, я сказала Б. к чему-то:

— Вы не ходите, а то мы бы посмеялись.

Он говорил, что так много дела; и я знала, что это так.

— Вот бы и остался теперь. Хорошо у вас, да надо на курсы, а там в гошпиталь. Вы хоть бы меня пожалели, — сказал он уже из дверей.

— Вы сами себя пожалеете.

— О не думайте, чтоб я был так горд, чтоб не хотел, чтоб меня жалели.

— Мне нужно самое себя пожалеть, меня-то жалеть некому.

Он поспешно подошел ко мне и пожал мою руку.

— Или отложить до того, когда случится transformation — сказал он, вспомнив читанную книгу и ответил сам себе: „или будет поздно...“

— Прощайте.

Он мне говорил, что постарается увидеть меня прежде субботы. Потом он заметил, что молодые люди не затворили дверь и что я должна их за это побранить.

Графиня была сегодня; отдавая ей повесть ее сына, я сказала ей, что на месте цензора запретила бы ее. Вот ловкая штука... лестная и добросовестная.

Суббота. Декабрь 1864 года.

На-днях сделалась больна и к тому же вышла чепуха из-за денег, по которой нужно было ехать к банкиру. Я попросила гр[афиню] притти посоветовать, что делать. Она тотчас пришла, но была холодна, советовала поручить дело Бени. Я сказала, что он занят и мы с ним не дружны. Она усомнилась, что он занят. Посоветовала обратиться к Алхазову. Это было более всего невозможно. Посоветовала к Утину. Я не сказала ничего, а когда пришлось говорить, сказала, попрошу хозяйку.

На другой день я послала Утину письмо, прося его поскорее притти, говоря, что больна. Мне сказали, что сейчас придет, но он пришел через 4 часа и пришел с Салиасом. Он уже был у них и знал все мое дело. Я была взволнована чтением и потом этим явлением и была с ними груба и, особенно, с Салиасом. Когда он сказал: нужно вас посещать, я ответила, зачем?

Утин пришел на другой день, я ему сказала, что вспоминаю, что была груба с Салиасом, и он сознался и сказал, что даже удивился. Сказал еще, что Салиас обиделся за что-то накануне, что было вовсе не законно.

Я сказала Утину, что видела Carrive'a, и что он просил у меня позволения познакомить меня с своим товарищем.— Когда они придут?—спросил он.

Я отвечала: не знаю.

Вот уж самолюбие и затронуто, рады притти, когда хорошо мне и без них.

— Скучно вам?—спросил Утин.

— Нет, ничего,—ответила я,—я ведь не очень больна и могу заниматься, и чем же отличается собственно теперешняя моя жизнь от всегдашней?

— Я спросил, потому что вы вздохнули.

Прощаясь, он мне сказал, что с ним я не должна опасаться, он будет понимать мои слова так, как надо.

Сделавшись больна, я вечером написала записку Benni; он пришел на другой день рано утром, когда я была в постели. Отворяя дверь ему, я сказала, чтоб он подождал, когда я лягу в постель. Я улеглась. Он вошел. Он был очень встревожен

и, прощаясь, жал мою руку так сильно. Я слегка удержала его руку. Но он пошел. Потом он пришел вечером и на другой день, и на третий. На другой день он долго сидел со мной, сидел, развалясь в противоположном углу, и говорил много, хорошо, но он был совершенно спокоен. Он говорил, как дурно, что люди не уважают свободы других при дружбе, знакомстве даже: „Ну, он мой друг,—говорил он,—какое ему дело, что завтра я украду деньги, всякий отвечает за себя“.

Сегодня я брала у него урок. Мне стало жарко сидеть у печки, я отодвинулась и, наконец, ушла. Он сказал, что я очень далеко.—Так подите сюда! Но он не пошел. Я сказала, что деньги менять нужно, он вызвался мне сам разменять, и я дала ему, чтоб еще раз его увидеть. Он пришел, но в этот раз у меня был Carrive. Он точно не в духе стал, когда заметил его, и скоро ушел, сказав, что придет во вторник, т. е. когда только нужен, потому что я уже почти здорова. Гордый мальчик!

Понедельник.

Я теперь думаю о моем возвращении в Россию. Куда я поеду, к кому? к брату, отцу? Я никогда не могу быть свободна так, как мне нужно, и какая цель выносить зависимость? Что у меня общего с этими людьми? Идеи проводить! глупо. Да и детей мне своих никто не даст. Мне кажется, что в России теперь совсем не так худо, как говорят. Ведь какая, собственно, цель всего, — чтоб хорошо было народу, т.-е. чтоб он ел хорошо, а он ест лучше, чем когда-либо, а с этим он пойдет далеко, а что университеты-то закрыты,— экая важность!

Как-то мой лейб-медик говорил, что нет у него отечества, а что такое значит: иметь отечество?

14 Декабря.

В воскресенье был Алхазов; рассказывал о притеснениях, которые у них делают. Он приходит в отчаяние от невозможности что-нибудь сделать, он хочет ехать в Турцию: там свободнее. Вот положение современного человека! искать свободы в Турции! Эта мысль мне понравилась.

— По крайней мере там не нужно надевать фрака и перчаток, — сказал он. Потом он говорил, что хотел выписать маленького брата,— там плохи школы,— но раздумал, смотря на здешние нравы. Конечно, я мог следить за ним, сказал он, но то многое, что могу сделать для него, не заменит то, чего он лишится: я не могу заменить ему мать и братьев, природы, всего того, из чего складываются впечатления, из которых образуется характер, а это главное. Учение можно добавить после, а характера не приобретешь. Мы с ним от души потолковали.

Сегодня была у гр[афини]. Она только что возвратилась из путешествия, провожала M-me О[гареву]. Она мне рассказывала вещи ужасные: M-me О[гарева]—это женщина, о которой люди всех партий и мнений отзываются так дурно, бежит от мужа и овладела Г[ерценом]. При ней Г[ерцен] к ней пришел пьяный и, как только он вошел, она ему предлагает вина под предлогом, что некуда вылить. Она, говорят, и мужа своего прежде так завлекала, спаивала. Расставаясь с S[alias], M-me О[гарева] дала ей записку. Для О[гарева]?—спросила эта.— О нет, для Г[ерцена]. Скажите ему, чтоб он провожал О[гарева] и ехал скорее ко мне. Он человек сильный, но я за себя не ручаюсь. Говоря о своих детях, она сравнивала отношения свои к ним с отношением св. девы к сыну.

В субботу, когда я сказала лейб-медику, что еду в П.— в нем я заметила некоторое волнение. Когда он уходил, я сказала довольно просто:

— Можете вы мне сделать одолжение, узнать один адрес.

— Чей?

— К.

Голос мой изменился, когда я произносила это имя . . .

Он обещал. Я просила не торопиться. Сегодня он принес этот адрес. Я очень удивилась, увидав его не в определенное время.

— Дайте бумаги,— сказал он, поздоровавшись.

Я дала и стала выражать удивление, что его вижу. Он избегал произнести имя К. и то, зачем пришел.

Я ушла за углем и, вытаскивая его из шкафа, спросила:

— Вы мне принесли тот адрес, что я просила?

Потом я просила его посидеть. Он оставался недолго и был очень грустен.

Я чувствую, что я мельчаю, погружаюсь в какую-то „тину нечистую“ и не чувствую энтузиазма, который из нее вырывал, спасительного негодования.

Я много думала, и мне стало легче. Во мне много предрассудков. Если б я не любила прежде, еслиб л[ейб] м[едик] не был моим доктором, наши отношения были бы не те. Куда девалась моя смелость? Когда я вспоминаю, что была я два года назад, я начинаю ненавидеть Д[остоевскаго], он первый убил во мне веру. Но я хочу стряхнуть эту печаль.

20 декабря.

Л[ейб] медик сказал о графине (после, как я ему сказала, что она его не любит, что он признал: ему было неприятно), что она неспособна никого любить. Как это верно!

Montagnard сказал, что предпочитает характер поэзии Андре Шенье характеру Альфеда де Мюссе; о последнем говорит, что он видит зло, ничего не находит высокого, и это потому, что лично он несчастлив, что он слишком везде занят самим собой, что он эгоист.

21 декабря.

Был лейб-медик. Он говорил по поводу любви, что в жизни личностей, как и в жизни государств, есть акции и реакции; в одну эпоху человек любит, в другую говорит себе: довольно, пускай меня любят, когда хотят, а нет, не надо.

31 декабря.

Сегодня получила от сестры письмо и отвечаю ей следующим [1]).

14 января.

Число людей, у которых легкая победа над женщиной теряет достоинство этой женщины, может быть гораздо более велико, чем я предполагала.

---

[1]) Письмо не приводится.

15 января.

Наконец, я увидела действие пропаганды. Хозяйка высказала мне претензию за то, что я ей не сказала, что даю Леони. „Вы должны были держать сторону хозяев, а не слуг“, — сказала она мне. „M-me, я не могу держать ни сторону хозяев, ни сторону слуг, — сказала я.—Я держусь только правды, впрочем, если хотите, я заплачу деньги, которые вы через меня потеряли“, и я ушла. Она спрашивала прислугу, что я говорила после, та сказала: ничего. Спустя несколько часов M-me Ruit приходила ко мне извиняться. Впрочем, не обошлось без Донкишотства. Леони, чтоб взять с хозяйки деньги, сказала, что я ничего ей не давала, что у меня куча дела и беспорядок, и что я самая беспокойная и изнеженная.

Был сегодня У[тин], с которым мы имели великий диспут о любви, по поводу А. К. Разговор начался с того, что он увидал ее портрет у меня. Я спорила, страшно горячо стояла за В., доказывая, что могли быть уважительные обстоятельства, по которым он с ней разошелся. Я говорила, что несправедливо требовать, чтоб молодой человек отвечал за себя и за других. Он отрицал, говоря, что он должен был жениться и, пожалуй, разойтись на другой день, если разлюбил, или обеспечить. Это мне нравится! В первом случае, значит, молодой человек из-за этого должен навеки отказаться от счастья и любви, ибо во второй раз жениться нельзя. А обеспечить? — следовательно, бедный человек не должен любить.

Я уезжаю из Парижа в какой-нибудь маленький город Франции. Надоела мне общественная ложь, хочу быть совсем одна, — будет правда; а то и одна, а порой кажется, что не одна, чего-то невольно жду и надеюсь и беспокоюсь.

Мне хочется быть ближе к природе. Она одна всех награждает одинаково, никому не отказывает в своих дарах. Хотелось мне поселиться на берегу моря, чтоб было грандиознее.

Montagnard был несколько озадачен моим решением. У[тин] немножко тоже. Лейб-медик принял совершенно равнодушно, но после двух положительных напоминаний моих об от‘езде, спросил: „Неужели в самом деле Вы едете?“. Вот вопрос! Ка-

ламбур что ли я буду строить с ним. Алхазов радовался за меня, моему...

21 января.

Вчера обедала в Hotel fleures. Рассказывали о женщине, удавившейся; подробности об'ясняли, как была затянута веревка. „Кто это ее так затянул, вероятно, ее муж" — заметила M-me Верней.

Сегодня мне были медицинские истязания. Я стала советоваться с лейб-мед[иком], куда лучше ехать, и сказала о Исп[ании], Валенции. „Поезжайте в Валенцию,— сказал он,— и я думаю туда ехать. Вам только стоит мне написать". Я была озадачена. „Это роскошь",— сказала я, чтоб сказать что-нибудь. Потом, не обращая много внимания на его предложение приехать, перевела разговор на другой предмет — предложила ему быть моим лейб-медиком из прекрасного далека. Он согласился и предложил мне дать рекомендательное письмо к доктору.

Он предложил мне урок через несколько часов, но придя предложил отложить урок, найдя меня довольно слабою.

После его ухода [я думала] о грандиозной прогулке в Испанию...

26 января.

Вчера был лейб-медик, давал урок, по обыкновению, болтали. Я ему, показывая портрет Катеньки, сказала: „Вот кто хорош". Но ему не очень понравился, он сказал, что его идеал красоты женской — Венера Милосская. Я сказала, что она выражает чувственность. Он не находит этого, говорит, что она такая гордая.

Третьего дня вечером, возвращаясь от обеда, я вздумала о Плантаторе и захотела спросить, там ли он живет, для этого решилась пойти в дом, где, мне говорили, он живет. Я повернула от Одеона к улице Racine. По улице Cornel я встречаю его с какой-то дамой. Было тут очень темно, и я сомневалась, он ли это. Я обернулась несколько раз, и он обертывался. Когда в последний раз я обернулась, он стоял с этой дамой. Сердце мое билось неистово, я перешла улицу и вошла

на ступени Одеона. Под сводами, где обыкновенно продаются книги, было темно. Я пробиралась, как вор, чтоб стать напротив его и следить за ним. В это время он с той же дамой перешел улицу и пошел под сводами с той стороны, где продаются газеты и где было освещено. Я невольно шла за ним и следила его в толпе издали. Он шел все далее и далее по улице Vaugirar, я все шла за ним. Я еще сомневалась, он ли это, около Люксембурга я его догнала и шла шаг за шагом. Мне хотелось видеть в лицо его дзму, но не удалось. Я заметила только, что она блондинка. Он мало с ней говорил, с ними шел еще какой-то господин, он шел со стороны Плантатора. Я ничего не могла слышать из их разговора. Подходя к улице М., Плант[атор] обернулся. Тут я хорошо его увидела. Он должен был меня заметить, но не знаю, узнал ли, не думаю этого; он обернулся без всякой внешней причины (по силе магнетизма, что ли?). Я немного отстала. Стыд и горе охватили меня. Я не знала, итти ли дальше или вернуться. Я остановилась, [но] какая-то сила влекла меня вперед, я пошла. Но куда, зачем итти? Я снова остановилась, увидя, что прохожие этой большой улицы смотрят на меня.— M-elle, чего вы ищете?—спросил меня какой-то мужчина.—Убирайтесь, оставьте меня в покое, — отвечала я резко.

Я повернула в темную улицу М. и потом вернулась домой. Моя первая мысль была итти в Hotel du Med[ecin] и узнать наверное, там ли он живет, но я как-то не решалась итти одна и потому отправилась к граф[ине], надеясь найти там Утина, или даже просить самого Салиаса проводить меня.

Я была страшно взволнована, глупо как-то говорила и сказала, наконец, что иду домой. Усов предложил подождать немного и итти вместе, но я отозвалась, что нужно итти сейчас. Гр[афиня] просила Усова остаться, говоря, что я могу дойти одна, так как только 9 час., но я сказала, что я желаю именно, чтоб меня кто-нибудь проводил немного, что потом можно вернуться тому. Утин вызвался настоятельнее. Я старалась быть покойна, как только могла.—„Отчего вы хотите, чтобы вас немного проводили? — спросил он — Так, мне нужно зайти в одно место. Мне нужно узнать адрес одного

господина, — отвечала я небрежно и стала говорить о его повести, о моем от'езде.

Он стал спрашивать, кто этот господин, я отвечала уклончиво, и он вскоре стал мне говорить, что я делаю глупости и пр. Мы, однако, зашли в этот дом. Он не хотел спрашивать, я должна была спросить сама.

— Такое имя здесь неизвестно, — отвечал мне хозяин довольно грубо.

— Ну, что взяли? — спросил меня У[тин].

— Ничего, завтра буду знать, — отвечала я. Потом он опять меня бранил, я оправдывалась и говорила ужасный вздор и очень живо.

— Вы ужасно взволнованы, — сказал он мне.

— Да, — отвечала я и вдруг прервала разговор, оставила его руку и пошла прочь.

А вчера, прощаясь, я сказала лейб-медику, что адрес К. не верен. Он предложил узнать, так как видит его каждый день. И сегодня, идя к гр[афине], по улице Ecole de Médecine я вдруг встречаю его. Я не ожидала. Я как-то смутилась и растерялась, даже мои щеки облились горячим румянцем, я на него не смотрела, но он был как будто смелее, самоувереннее. Бедное сердце!..

Он, кажется, похорошел. Верхняя губа его покрылась желтым пухом, и это придает мужественный отпечаток его оригинальному, энергичному лицу. Как хорошо это лицо! Есть в нем какая-то юношеская мощь, сама себя не сознающая.

28 января.

Вчера за обедом Усов предложил итти в театр Бабино, и мы отправились вчетвером: я, он, хозяин и Никалопуло. Страшная грязь этот театр! Говорятся сальности и дамы выделывают такие жесты, что смотреть совестно. Это смесь сала и глупости и наглости солдатской. Публика, состоящая из работниц, большей частью хохотала от чистого сердца. Не грязь тут особенно заразительна, а ее смелость и успех, если б я видела подобную картину в ... [1]), это понятно, но

---

[1]) Одно слово не разобрано.

в публике, в театре! В нашу ложу, в которой я с Усовым занимаем первые места, забралось множество студентов, которые вели себя очень фамильярно: стучали без милосердия, кричали, делали вслух разные замечания актерам. Усов стал уверять меня, что их выведут, но все ограничилось замечанием прислуги театральной. В антракте У[сов] предложил мне итти в кафе. После еще картины! Страшная распущенность и фамильярность запечатлены на всем и на всех. Около нас сидели двое молодых людей с чахоточными фигурами и дулись в картишки; около одного из них сидела дама и рассеянно что-то пила из чашки. По временам она обращалась к своему соседу, играющему в карты, и клала руку ему на плечо; он, как спросонья, к ней обертывался и трепал ее по щеке. С другой стороны другая дама, но в шляпке, сидела между мужчинами и читала „Petit journal". Сидевший против нее господин, с которым она была фамильярнее, к ней обращался и целовал ее руку. Эти дамы некрасивы и вялы. Хозяйка к нам подбежала с необыкновенной развязностью и, положив свою руку на мою и наклонясь к нам обоим, сказала, что сейчас нам будет спрошенное нами пиво. А в театре я заметила, как делают знакомства молодой человек с дамой, сидевшей рядом. Он в антракте, разговаривая с ней, смотрел ей в лицо и поправлял ее шаль.

Люкрас усердно ухаживает за M-me Верлей, но как глупо и нахально это ухаживание. Он становится в стороне от взглядов других в картинную позу и не сводит с нее сладких глаз, садится в конце обеда в соседней темной комнате против дверей и оттуда наводит на нее глаза.

Сегодня лейб-медик давал мне урок. У меня были расстроены нервы, и я несколько раз во время чтения принималась плакать. Он, кажется, был тронут, но, вероятно, не мог определить причины этого волнения. Сначала я сидела на диване, а он у камина, но когда у соседей стали играть на фортепиано, он подвинулся ко мне довольно близко, облокотился на диван, так что, когда кто-то постучался, он отодвинулся (была племянница хозяйки), но я на него не смотрела и потому не видела ни позы, ни выражения лица. Когда кон-

чили, он спросил, когда притти. Я назначила вторник, он обещал зайти в понедельник, узнать о здоровьи.

Я заговорила что-то о поездке в Испанию. Он сказал, что для нее, кажется, не нужно вовсе визировать паспорта. Я утверждала: нужно. — Вы все знаете, что касается Испании — заметил он (нет, мало знала, если б знала, не то бы было). Он не сказал, однако, адрес Плантатора. Следующий раз спрошу. Он сказал, говоря о моей поездке, что это хорошее дело, что и ему хотелось бы проехать в те края.

Я ему скажу, что он не понравился племяннице хозяйки, но что я ей сказала, будто он добрый, только с женскими капризами.

4 февраля. Суббота.

На-днях выхожу из омнибуса около Пале-Рояля. Какая-то девочка подошла ко мне и предложила купить пуговицы. Я дала денег и отказывалась от пуговиц, но она настаивала, чтобы я их взяла. Я взяла пуговицы и дала ей еще денег, но она снова стала совать мне пуговицы, от которых я снова отказывалась.

— Довольно, ей больше не нужно пуговиц, оставь ее, — вмешался кондуктор, стоявший подле и, обращаясь ко мне, об'яснил, что эта девочка никогда не берет денег даром, и при этом воздал ей должную честь.

Сегодня был лейб-медик. Он приходил было прощаться и дать последний урок, но оказалось, что еще увидимся. Он был расстроен и ушел, не докончив урок, сказал, что болен.

— Это заметно, — отвечала я.—Что у вас?

— Не знаю сам.

— Простудились или не спали?

— Не спал, скверно спал. Когда бы не спал, то это по причине, а тут их не было.

Я не говорила ничего, и мы расстались, как обыкновенно.

— Вы непременно придете в понедельник? — спросила я его.— Да, я ведь должен еще принести вам адрес (разве для этого только?). Он говорил об адресе Кор., но я сделала вид, что понимаю адрес доктора в Montpelier.

Перед этим, когда он был, я сказала, что теперь, когда увидимся, он будет занимать у меня второе место, как медик, первое займет сестра.

— Я буду ревновать — сказал он, — хоть в этом я имею право.

Сейчас был Утин. Говорил очень откровенно. Я ему сказала, что им можно увлечься, но любить его нельзя. Он был очень заинтересован и приставал, чтобы я ему об'яснила, почему.

Как это об'яснить?..

— Странный вы человек, — сказала я и остановилась.

Он опять пристал, чтобы об'яснила.

— Я вздор хотела сказать.

— Ну все равно, что за важность!

— Я хотела сказать, отчего ко мне не ходите. Очень просто; и дело есть и, наконец, медовый месяц с Салиасом.

— Вы не хотите поискать причины поглубже? — сказал он.

Я начала шутить над этим, и он сказал, что он вздор сказал.

— Нет, я знаю, почему вы не ходите ко мне.

— Что ж, эта причина поглубже тех, которые назвали?

— Да... пожалуй.

Он пристал, чтоб сказала.

— То, что нами немного занимались.

Он восстал против этого.

— Это очень понятно, — сказала я. — Зачем же ходить к женщине. Во мне ведь не много интересного. Ума-то и знаний не здесь же искать.

Он шутя стал говорить, что интересуется испанкой. — Вы разве не видели, как я с ней разговаривал у камина? — Я сказала, что видала, но не бывала в обществах и не знаю, что означает ухаживать, быть влюбленным или просто вежливым. Он меня спросил, зачем я так рано уехала. Я об'яснила очень просто, что это не рано для меня, что я была нездорова.

Потом спросил, пишу ли я Д[остоевскому] и отчего не иду за него замуж, что нужно, чтоб я прибрала к рукам его и „Эпоху“.

— Оттого, что не хочу,— отвечала.

— Как так?

— Да так, хотела, так была бы там, а не ехала в Монпелье.

— Да, может быть, он сам на вас не женится,— сказал он комически.

— Может быть,— отвечала я.

Прибрать к рукам „Эпоху"! Но что я за Ифигения!

8 марта. Montpellier.

Здешний народ ужасно добр, но с предрассудками страшнейшими. Когда я была больна, хозяйка со мной сидела и предлагала разные услуги, прислуга забегалась за моими комиссиями, на которые сама вызывалась, и только спрашивала при каждом удобном случае, нет ли еще за чем сбегать. Я люблю здесь простой малообразованный народ более, чем образованный, это, как и везде: необразованные люди готовы все усвоить, что непредосудительно и хорошо. Они уважают смелость, хоть сами и нейдут на нее, но образованные думают, что они уже все знают, до всего дошли и ничему не удивляются. Провинциалы ненавидят парижан, и эта ненависть доходит до смешной крайности, вроде того, как ненависть французов к англичанам. Вчера Го мне говорит, что все умы, таланты вышли из провинции, что парижане дураки; он может доказать парижанину, что книга не книга, а дерево, и тот согласится. В ненависти моего учителя есть что-то злостное, а вместе боязливое. Он и M-eur Chancel меня любят и уважают, они говорят о свободе и правде: все это хорошо, но что будут говорить? — Поверьте, что не так это страшно, как вам кажется.

— Да, да, нужно быть философами,—говорят они.

— Немножко,— отвечаю я.

— Нет, много.

Они любят, когда другие делают свободно, а сами не делают. Они любят свободу платонически.

M-me O[гарева] престранная женщина. То она хочет, чтоб женщины жили отдельно от мужчин, чтоб не вмешивать в жизнь семейную все дрязги хозяйства и видеть только в свободное время (уж не сераль ли), то не хочет, чтобы женщина

выходила замуж и паче всего, чтоб не иметь страстей, то хочет выселиться из Европы и составить братство, но нет еще товарищей. Она постоянно убеждает Г[ерцена], что нужно ему патрироваться и писать для Франции брошюры. Наконец, сегодня, мы с ней как-будто договорились. Я говорю, что пользу нужно приносить, хоть одного мужика читать выучить. Она доказывает, что это не польза, ибо мужику читать еще нечего, он забудет читать, ибо книг для него не написано. Тургенев ему не годится, непонятен. Только одного Кольцова он понимает, но с Кольцовым далеко не уйдешь.

— Стало быть, нужно, чтоб народ сам для себя написал книги.

— Нет, не то. Нужно, чтоб цивилизованные в....[1]) составили для модели общество, в котором бы не венчались и не крестили детей, написали бы книжки для русского народа, (те, которые не забыли русский язык).

— Но как составить такое общество? Пожалуй, никто не пойдет.

— А Лугинин и Усов!

Я просила считать меня кандидатом. Но что я буду делать, если туда попадут Лугинин и Усов?

Потом она просила меня достать ей яду через моего доктора. Я, как особа без предрассудков, гуманная и образованная, обещала ей, но я не знала, как было подступить к моему доктору с такой просьбой, слишком уж стыдно, и она меня предупредила, достала сама через своего доктора, который глуп и ничего не понял.

Сегодня со мной случилось комическое обстоятельство.

Приходя нанимать здесь квартиру с M-me О[гаревой], я встретила поляка, немолодой человек, который, слыша нас, говорящих по-русски, заговорил; а в день, когда я перебиралась, ни с того, ни с сего зашел ко мне, когда комната была отворена. Я приняла его холодно и с тех пор недели две его не видала.

Сегодня я его встречаю на лестнице и поклонилась ему, кажется, первая. Он очень радостно принял мое приветствие и повел меня знакомить со своей женой.

[1]) Одно слово неразборчиво.

В небольшой комнате я встретила пожилую женщину.

При рекомендации я тотчас же почувствовала неловкость.

— M-me,— заговорила я,— хоть я и русская...

— Но... либеральная,— сказал поляк.

— Я не разделяю мнений... — продолжала я.

— Мур[авьева]—сказала за меня дама.—Вы не русская душой.

— Извините,— сказала я,— всегда русская. И тут я почувствовала всю нелепость этого знакомства и поспешила повернуть разговор на другие предметы.

Montpellier, 24 апреля.

Недавно с Hault говорили довольно симпатично. Он говорит, что русские женщины симпатичнее и лучше русских мужчин, точно так же, как и итальянки. Он говорит, что у всякого политического деятеля Италии непременно где-нибудь сидит женщина, которая его одушевляет. „Я много имею сношений с русскими женщинами через письма,— сказал он.— Но отчего у самых легких и ветреных из них внутри всегда печаль?"

Он говорит, что русская народность вовсе не обещает такого развития, какое ждут от нее Герцен и другие. Что Россия тоже имела свою цивилизацию и стоит в этом отношении наравне с другими государствами Запада, что во французском народе тоже много нетронутых сил.

Потом смеялся над современной фр[анцузской] молодежью, над ее резонабельностью и рассказывал, какие они были в свое время, сколько было у них удали и энтузиазма.

Вчера он рассказывал, как свободны итальянские и испанские женщины, что молодая женщина, давая вечер, все время почти остается с человеком, который ей нравится. Все это замечают и находят натуральным. Все уходят домой, он остается. При нем она раздевается, даже ложится в постель. И все это делается свободно, искренно и без злоупотребления.

Вчера была на ярмарке, которая тут только-что началась. Прелестно, как хорошо. Балаганы, качели. Я с племянницей M-me Chancel тоже буду качаться на качелях когда-нибудь вечером. А балаганы! Théâtre de pation, Chiens et singe savants и пр. А паяцы! Есть одна очень интересная девочка, кото-

рая танцовала на галлерее. Танцовала с грацией и одушевлением. Потом с особенным добродушием каким-то раздавала билеты. К ней протягивались из толпы разные жилистые руки. С какой приветливостью улыбалась она и кивала головой своим знакомым! С какой живостью схватила огромную некрасивую собаку и поцеловала ее в морду. Подле же стояла другая девочка, помоложе, но похожа на нее и в одинаковом костюме (она серьезнее и как-то больше похожа на мальчика).

Montpellier, мая 6-го.

На-днях была мне операция, которая меня встревожила и напугала особенно тем, что доктор не предупредил меня о ней. Почувствовав, что меня режут, я струсила и, думая, что еще будут резать, умоляла доктора оставить меня, но как он не оставлял, это меня убеждало в предположении, что он еще будет меня резать. Боль, страх и обида, что он сделал операцию обманом, раздражили меня до крайности. Я плакала и рыдала. Доктора это сильно смутило и растрогало. Он утешал меня и чуть не поцеловал мои руки, а я его, кажется, обняла. Я скоро успокоилась и когда через несколько минут я лежала на диване, усталая и огорченная, и покорная, и молчаливая, утешая меня, он взял меня за руки и наклонился так близко к моему лицу, что мне стало неловко, и я отвернулась.

(Он мне сказал с удовольствием, что уж больше не будет меня ни резать, ни жечь. Это об'явление вызвало во мне чувство радости и благодарности).

Он сказал, завинчивая свои инструменты, что после такой операции я, если выйду замуж, то буду иметь детей. Я сказала, что это меня ничуть не утешает. „Почему же?—спросил он,—все женщины желают иметь детей.“—„Потому что я не умею их воспитывать,“—сказала я. Размышления, нашедшие на меня, по поводу этого разговора, навели на меня грусть и вызвали слезы, которые я не удерживала.

На другой день я его встретила спокойно и отдалась его распоряжению с обыкновенной доверчивостью, но когда он снова начал меня мучить, мне почему-то показалось, что он опять будет меня резать, и, несмотря на его уверение, что

мне ничего не будет, я продолжала встревоженно упрашивать его оставить меня в покое. Эскулап мой вломился в амбицию и говорит: „Вы не верите честному слову медика". В его тоне было что-то такое, что напоминало мне моего лейб-медика, когда на мое замечание, что если мы запремся с ним вдвоем, то можем пострадать за правду, он сказал, что это было бы действительно пострадать за правду. „Потому что все люди не Макиавеллисты", ответила я моему эскулапу, и на этом мы примирились.

Вчера был Gault и у нас с ним был сантиментальный разговор: о любви, браке и пр. Gault напустил мне тумана, мне показалось, что он, как будто, меня экзаменовал, допытываясь, сколько раз была я влюблена и вылечилась ли от последней любви. Я ему ответила, что еще не совсем. Потом он отчасти спрашивал, как я думаю устроить свою будущую жизнь и советовал мне выйти замуж, тогда как накануне говорил против брака. Весь этот разговор он перемешал рассказами и остротами, в заключение мне предложил полагаться на него, буде мне встретится нужда в совете и пр.

Несколько назад он мне говорил, что брак хоть и полезное учреждение, но для некоторых людей, особенно тех, которые свободы вкусили — не годится, что жениться хорошо человеку, имеющему собственность и занимающемуся обработкой земли, но тому, кто живет своим умственным трудом, хочет многое видеть и знать, нельзя себя связывать. „А любовь, — сказал он, — страсть что такое? Лишний скандал. Занимайтесь литературой, окружите себя дельными людьми и только".

Я с ним согласилась. А на другой день мне говорил мой учитель, обожающий свою молодую жену и ребенка, что в любви только и есть счастье. Они все против. Кого же слушать? Вчера Gault мне говорит, что нужно выходить замуж, только не по страсти; нужно избрать человека с умственными, нравственными и физическими качествами, с положением в свете.

Может быть, он и прав, может быть, выходя замуж, таким образом я и не удалюсь слишком от его программы жизни умственной, но как бы то ни было, что б ни значили его слова, я дешево не сдамся.

17 мая. Вторник.

„Презабавная шутка — жизнь, раз ее попробовал. — Видишь, что скверно; но думаешь, нет, это не то, я был слишком опрометчив, слишком скор, и в другой раз человек уж не опрометчив и не скор — говорит Го. — А вы, вы будете также, как другие, будете обманывать, будете обмануты“.

27.

Gault мне об‘яснил сегодня, отчего на Espelani такие низкие дома. От того, что они vis-á-vis с цитаделью, построенной во время Louis XIII.

29 июня. Цюрих.

Сегодня видела какое-то национальное торжество, встреча стрелков. Первый мне дал знать о нем, когда я выходила из библиотеки, старик, служащий в ней при выдаче книг, а потом, когда я сошла вниз, встретила Вериго, он об‘яснил мне и предложил итти вместе смотреть. Этот господин уже давно, с самого моего приезда [уделял] какое-то особенное внимание. Раз, когда я за чаем спросила вина, и мне подали воды, не желая сконфузить прислугу, я хотела показать ей, что именно этого было нужно, но не знала, куда деть воду, пить не хотелось, он храбро налил стакан, взглянул на меня выразительно и выпил залпом. К счастью, никто не заметил. Сегодня, насмотревшись на стрелков и затем на горы, мы пришли вместе пить чай. Уходя после чаю из столовой, я предложила Княжниной гулять. Она пришла и сказала, что с ними идет В., но ему прежде нужно зайти в лабораторию; мы отправились вместе. В лаборатории он мне показывал разные вещи, какое-то очень красивое вещество и потом сделал искусственное освещение. Я его уговаривала не делать ничего опасного, говоря, что я трусиха. Он говорил, что опасного нет. Я ему поверила и осталась подле него, тогда как К[няжнина], химик, убежала, и когда хлопнула, я схватила его за руку и отдернулась.

27 июня. Цюрих.

Были мы все когда-то на празднике стрелков; дорогой, на одной станции, не успевшие сесть в вагон дети заплакали. Я

с беспокойством следила за ними. Сидевший против меня молодой человек сказал в успокоение мне, что он скоро возьмет другой вагон. С девочками у меня постоянные споры, в Женеве когда были — тоже...

Вчера, когда я рассказывала про американцев, путешествующих пешком в Европе, говорят, что это глупо, знание страны, осматривания не нужны. Я хотела после этого уехать, но не удалось, да и к чему?.. Жена соседа-доктора толкует о естественных науках, но допускает живопись только плохую. Говорит, что в исторической живописи нечего понимать и никто не может ее понять. Кто же может понимать, человек не понимающий горести... [1]), которого рисовал мой знакомый испанец?

— Как, изучать страну нельзя!

— Конечно, без естественных наук ничего нельзя.

30 июня. Цюрих.

Вчера ходили гулять с Лиденькой. Она говорит о своей глупости, я жалею, что ей возражала, она просила меня остановиться посмотреть картины. Я указала ей на Венеру Милосскую, она с презрением отвернулась, дескать, искусство, его надо отрицать, а виды Швейцарии на лубочных картинках, вот так знаменитые женщины XIX-столетия. „Ах ты, сукин сын, камаринский мужик“. Rien n'est sacré pour un tapeur.

1865. 17 сентября. Спа.

Вчера только сюда приехала из Парижа, который оставила совсем, после 3-недельного пребывания проездом. Не скажу, чтоб это было мне легко. Усов предложил мне проводить меня до железной дороги, и я приняла это предложение с величайшей радостью: мне страшно было быть одной последние минуты. Итак, я бросила Париж, вырвала себя из него с корнем и думаю, что поступила с собой честно и решительно. Третьего дня вечером я отчаянно плакала и не думала, что у меня достанет мужества на этот плач. Вчера я

---

[1]) Неразборчиво.

приехала, устала, бросилась в постель и в первый раз после Пар[ижских] трех недель уснула крепким спокойным сном и, проснувшись, с радостью увидела через окно ясное небо, зелень...

Дорогой думала о своей будущности и решила, нужно жить в губ[ернском] гор[оде] и иметь свой кружок, завести античную интимную школу, не в Петербурге, потому что лучше быть в деревне первым и пр., и не в деревне, чтоб не умереть со скуки. Значит, волки будут сыты и овцы целы. Теперь это решено. Стала на этой точке и держись на этой линии.

Расскажу, что было в Париже. Приехав с сестрой, я позвала Л[ейб] М[едика] без всякой цели, руководясь простым желанием его видеть. Он тотчас явился, я была на балконе, когда он вошел; сестра была в комнате; услыхав, что кто-то вошел, я обернулась и сначала не узнала его. Узнав, я быстро подошла к нему и с чувством протянула [руку]. Говорили о разных разностях. Я рассказывала о Го, говорила, что сама буду жить также с кошками и сажать картофель, так как цветов у нас нельзя. Потом он еще был и после этого скрылся на неделю. Наконец, явился, сказав, что был болен. Говорили о людях важных и об искусстве, впрочем, говорили больше мы с сестрой. Он соглашался скорее со мной. Мне так надоели эти разговоры, что я убежала, оставив их кончать разговор. Во все эти визиты он искал случая говорить со мной наедине, но я не хотела, сестра не оставляла нас. Раз вечером он спрашивает, что у нас за балкон и вышел посмотреть, но я не последовала за ним. Потом он приходит на другой день. Я сообщила ему эту новость с заплаканными глазами. В следующий раз он приходит, я крайне грустная, решилась ехать и писала ему письмо с предложением притти проститься. Он заметил мое расстройство, я сказала, что я не в своей тарелке и долго не могла сказать причины. Он приставал, спрашивал, не может ли чем помочь, говорил, что готов сделать все, но я отказывалась, наконец сказала, что еду. Он — когда, и пр.

— Так как вас не увидишь, пожалуй, и вы не дадите о себе вести... — заговорил он. Я села к окну печальная и покорная.

— Странная вещь, говорил он: люди иногда, как дети, то ищут друг друга, то прячутся, как где-то в сказке. То он искал, а она пряталась, то она искала — так и не нашли друг друга.

Потом он подошел ко мне взволнованный и протянул руки. Я подала ему свои. Знакомый огонь пробежал по жилам, но я крепко держала его руки и не давала ему приблизиться. Он волновался и пожирал меня глазами.

— Сядьте, — сказала я ему кротко и грустно.

— Нет, — ответил он отрывисто, судорожно сжимая мои руки.

— Сядьте, — повторила я.

— Я сяду, когда вы сядете, — сказал он.

Мы сели на диване, глаза наши встретились, и мы обнялись. Часа два просидели мы вместе так. Руки его окружали мою талию, я прижимала к груди его г о л о в у. Гладила его по волосам, целовала в лоб. Мы говорили беспечный вздор, никакие тревоги и сомнения не шли мне в голову. Потом я поехала к гр[афине]. Он меня провожал. Сидя рядом с ним в карете рука об руку, я п о ч у в с т в о в а л а, что он нехорошо меня любит, если это только можно назвать любовью. Мы встали. В парке мы расстались. Пройдя довольно большое расстояние, я обернулась, и увидала, что он стоял и смотрел мне в след, но это был фарс, и даже неловкий. Он пришел на другой день вечером; его страстности и восторженности не было меры, я отдалась этим минутам без тревог и сомнений.

Он хотел большего, но я не допускала, и о н у в и д е л с в о ю о ш и б к у. Я сказала, что я еду. Моя поездка отложилась только до с л е д у ю щ е г о дня, до четверга. Он пришел на след[ующий] день, в с р е д у и раскаивался и извинялся в том, что было. О н г о в о р и л, ч т о н е м о ж е т л ю б и т ь, н е с о з д а н д л я э т о г о, ч т о о н н е х о ч е т, ч т о б о б с т о я т е л ь с т в а и л и ч у в с т в а у п р а в л я л и е г о ж и з н ь ю и п р., п р.

Я еще отложила на день поездку, до пятницы; в четверг ждала граф[иню], которая обещала меня проводить. В этот день утром я была у ней. На прощанье она стала мне

дружески, матерински давать советы. Усталая от чужих людей, желающих употребить меня всякий в свою пользу, я была глубоко тронута. „Не забывайте бога, Полинька,— говорила она.— Это вас подкрепит, без этого плохо. Видите, куда без этого идут люди“... Я не выдержала, упала перед ней на колени и громко зарыдала. Она даже испугалась, хотела мне достать воды. „Нет, нет,— сказала я,— оставьте, мне хорошо так“. И я рыдала на ее груди и целовала ее руки.

— Я слишком несчастлива,— сказала я ей.

— Полинька,— ответила она.— Кто же не несчастлив, спросите, есть ли хоть одна женщина счастливая из тех, которые любили.

В четверг она пришла ко мне, и у нас было опять прощание, которое меня до того расстроило, что я сделалась больна и принуждена была на день еще отложить поездку.

Вечером, в четверг, он пришел. У меня был Усов. Усов не уходил, и он должен был уйти, не видав меня наедине.

— Я еще с вами не прощаюсь,— сказал он, уходя,— завтра надеюсь вас видеть.

— Я не знаю, застанете ли вы меня,— сказала я ему довольно холодно.

— Но уж я как-нибудь постараюсь застать,— сказал он довольно настойчиво.

Он пришел на следующий день вечером. Я была рада и не скрывала этого. Я весело с ним поздоровалась и просила садиться, думая, что он сядет не на стул, а подле. Я сидела на краю дивана, другая сторона которого была заставлена столом. Он просил меня подвинуться на диване и дать ему место подле себя. Я это сделала. Он взял мои руки, я сказала, что еще не знаю, поеду ли завтра, потому что все еще больна. Он советовал остаться. Я сказала, что буду жить в Спа, ждать денег. Он спросил, отчего не в Париже. Подали чай. Я беспечно предлагала ему. Он хотел было — пожалуй, давайте разыгрывать холодных героев,— сказал он.

— Что ж руки ломать,— возразила я.

Он был задет этой сдержанностью. Я одна выпила чашку. Он что-то заговорил.

— Послушайте, — начала я. — Зачем вы мне тогда, как я была печальна, выражали готовность помочь и все сделать, поправить, если можно.

— Я и готов был сделать все.

— Что ж вы сделали?

— Я думал помочь вам сочувствием, пониманием.

— Я у вас милостыни не просила!

— Боже мой, какие вы говорите ужасные слова!

— Зачем вы так далеко заходили, если не любили?

— Я заходил настолько, насколько любил и чувствовал, но я очень ошибся, я думал помочь вам и сделал хуже. Я думал, что меня будут любить, ничего за это с меня не требуя, будут любить так, как я хочу: сегодня я хочу так, — пусть будет так, а завтра иначе, — и пусть будет иначе; в любви всегда так. Одни любят, другие любимы.

Но какие все люди эгоисты, всякий любит для самого себя, я думал, что в вас что-то было для меня, и ошибся.

Я была поражена. Он хотел взять меня за руки, но я не дала.

— Оставьте меня, — сказала я, — сядьте подальше, уйдите.

— Что это значит, — сказал он, - отчего, когда вы меня любили прежде? я ничем не изменился.

— Вы говорите ужасные вещи.

— Что же такое я вам сказал?

— Подходить так к женщине, которую не любишь.

— О боже мой, ведь это все условные слова, сколько раз другой на моем месте сказал бы, что любит. Вы мне нравитесь очень во многих отношениях и нельзя ненавидеть людей, которые нас любят.

— Уйдите, уйдите, — говорила я.

— Отчего? Что я сказал такого ужасного? — И он приставал с этими вопросами, но я ничего не могла сказать. Я отвернулась, ушла в сторону, он оправдывался. Мне было тяжело, мне хотелось оправдать его.

— Боже мой, что это такое, — сказала я, или я больна, или мне хочется себя обмануть. Я стремительно взяла его за руки и зарыдала. — Обнимите меня крепче, — сказала ему, —

и потом пойдите. Мне хотелось на одну минуту забыться, думать, что он меня любит.

— Я к вам приду завтра? — спросил он.

— Нет, не надо, — ответила я, заливаясь слезами. — Я завтра уеду.

Я отталкивала его и снова привлекала, горько рыдая.

— Поцелуйте меня, — сказал он.

— Нет, нет.

— Я приду завтра.

— Не надо.

— Дайте поцеловать вашу руку.

— Нет, нет.

И мы расстались. Я долго еще плакала, и мне сделалось хуже, но я решилась ехать и уехала.

В это время тоски и отчаяния я так много думала о Gault и, может быть, мысль эта, уверенность в его дружбе, сочувствии и понимании спасли меня. Уверенная в ней, я чувствовала себя вне этой жалкой жизни и способной подняться выше ее. Тут только я поняла настоящую цену дружбы и уважения лиц, выходящих из общего круга и нашла в уверенности этой дружбы мужество и уважение к себе. Покинет ли меня когда-нибудь гордость? Нет, не может быть, лучше умереть. Лучше умереть с тоски, но свободной, независимой от внешних вещей, верной своим убеждениям и возвратить свою душу богу так же чистой, как она была, чем сделать уступку, позволить себе хоть на мгновение смешаться с низкими и недостойными вещами, но я нахожу жизнь так грубой и так печальной, что я с трудом ее выношу. Боже мой неужели всегда будет так! И стоило ли родиться!

Петербург, 2 ноября.

Сегодня был Ф[едор] М[ихайлович] и мы все спорили и противоречили друг другу. Он уже давно предлагает мне руку и сердце и только сердит этим. Говоря о моем характере, он сказал: если ты выйдешь замуж, то на третий же день возненавидишь и бросишь мужа. Припоминая Го, я сказала, что это один человек, который не добивался толку. Он по обыкновенной манере сказал: „Этот Го, может быть, и

добивался“. Потом прибавил: „Когда-нибудь я тебе скажу одну вещь“. Я пристала, чтоб он сказал. „Ты не можешь мне простить, что раз отдалась и мстишь за это; это женская черта“. Это меня очень взволновало. Он пригласил меня в присутствии А. Осип. вместе в театр. Я сказала: не пойду с вами в театр, так как никогда не ходила, отнесите этот каприз той же причине, которую перед этим сказали. „Вы позволяете“,— сказал он. „Что мне? Я не позволяю и не непозволяю, но вы-то своим тонким соображением непременно так должны думать“.

Вчера была у Петра Ивановича. Он был необыкновенно любезен.

6 ноября.

Был Ф[едор] М[ихайлович]. Втроем, с ним и с А. О., мы долго говорили. Я говорила, что сделаюсь святой, пройдусь босиком по Кремлевскому саду в Москве и буду говорить, что ангелы со мной беседуют и проч. Я много говорила. А эта О., которая верует, что из образа богородицы текло масло и не ест по средам скоромного, сказала под конец: „Вот так же говорил Филипп Демидов, но он потом сознался, что болтал чушь“. Это меня поразило. Мне пришло на мысль, как скоро и легко можно попасть в чучело у этого народа. У меня мелькнула мысль написать повесть на этот сюжет.



ПОВЕСТЬ

ЧУЖАЯ И СВОЙ

Быстро летел поезд железной дороги между Москвой и Петербургом, то и дело менялись станции, менялись пассажиры, а Лосницкому все казалось, что едут очень медленно. Устал он от дороги, да и мудрено ли после пяти недель беспрерывного путешествия, то в почтовом дилижансе, то на пароходе и, наконец, по железной дороге. Лосницкий нигде не хотел остановиться на пути. Он скакал, как будто спасаясь от погони, от злой тоски, которая преследовала и гнала его по этой дороге. Думал он на неделю остановиться в Москве, но страшно стеснилось его сердце при виде родного города, тех улиц и домов, между которыми он когда-то ходил свободным и страстным юношей, полным смелых замыслов и ожиданий. Он проехал прямо в гостиницу и не выходил из нее до тех пор, пока не настал час, в который должен был отправиться первый поезд в Петербург. Угрюмо и как-то робко выглядывал он из окна кареты при переезде с одного конца города на другой, между тем как сердце тоскливо ныло и чувства сомнения и ропота теснили душу.

Теперь до Петербурга оставалось несколько станций. Лосницкий отвернулся от своих спутников, рассуждающих об удобствах железной дороги, и смотрел в окно. Мысли быстро менялись в его голове и постоянно возвращались к одной: „Как-то она меня встретит? Любит ли еще? Ну, как разлюбила?“ Семь месяцев не виделись. Много, может быть, перемен в ней в семь месяцев с ее воображением при новых встречах, новых впечатлениях. Можно ли рассчитывать на постоянство любви 22-летней женщины, страстной и энергической, как она. Что, если она полюбила другого? Что тогда? Ведь она с ним уйдет куда-нибудь; уйдет, она свободная. Но кто же он? Чем он возьмет ее сердце? Она не легко его отдает. Он должен быть

очен умен, смел, молод... А как она умеет любить! И уж не колеблется, когда полюбит...

Но вот последняя станция, конец скоро, вот и Пет[ербург]. Сердце его стучит медленно и крепко. „Еще несколько часов, и я ее обниму. Теперь, в эту минуту, нельзя к ней, рано, да и отдохнуть нужно...“ Вот он уже в гостинице, посреди комнаты чемодан и дорожный мешок, пальто и фуражка брошены на диван. Лосницкий скорыми шагами ходит по комнате. „Нужно отдохнуть, непременно нужно, голова болит, нервы расстроены“. Лосницкий ложится на диван, но ему не спится, мысли его в беспорядке. „Что за шум в коридоре? Откуда этот пискливый женский голос, хлопание дверей? Как они рано встают! И зачем? Кто такие соседи? У них слышится разговор, детский крик, стук чайной посуды. Не выпить ли и мне чаю? Нет, лучше подождать, теперь не хочется... Она верно изменилась. Из писем видно, что стала еще серьезнее. Последнее было странно. Она под каким-то особенным впечатлением была. Пишет, что думала о прошлом и тосковала... О чем тосковала? О том ли, что нет его, или, что оно было?.. Опять беготня по коридору и хлопанье дверей. Верно кто-нибудь уезжает. Как однако нехорошо, непокойно в гостиницах. И какой шум здесь на улицах. Когда я жил в Москве на Никитской, было почти то же, но в то время было как-то незаметно. Засядешь бывало за книги и все исчезает перед глазами, все, мысль одна работает. И какие были мысли! Какая смелость! Какой порыв! Теперь уж не то. ...А давно ли?“ Лосницкий старается сосредоточить внимание на соседях, у которых стук чайной посуды удвоился, но напрасно,—настроение его духа становится беспокойней и тоскливей. Он дает волю течению мыслей. Знакомая тоска овладела им с большей силой. Лосницкий ее не гонит; напротив, он как-то раздраженно, с каким-то болезненным наслаждением ею упивается. Сожаления прошлого, боязнь потерять то, что еще оставалось, сознание какого-то бессилия охватили его душу.

Время шло, ударило 12. Лосницкий все еще лежал на диване, уставив глаза в потолок. Прошел еще час, Лосницкий наконец встал и начал одеваться. Мысль его остановилась исключительно на одном предмете, сознание скорого осуществления

того, о чем до сих пор так много мечтал, вызвало в нем прежнее нетерпение и беспокойство. Часа в 2 Лосницкий стоял у под'езда небольшого дома, в одной из отдаленных частей города, и с нетерпением дергал звонок. Старая служанка отворила дверь и окинула его недоверчивым и недовольным взглядом.

— Дома Анна Павловна?—спросил ее Лос[ницкий].

— Дома,—отвечала она лаконически и ввела его через небольшую переднюю в пустынную залу. Лосницкий сел на кресло подле круглого стола и тревожно смотрел на затворенную дверь, ведущую во внутренние комнаты. Эта тревога возрастала с каждым мгновением. Но [это] не было волнение юноши, в котором ярко отпечатывается переход от надежд к сомнению, которого страдания так живы и внушают симпатию; было что-то странное в волнении человека, испытанного трудом и страданием; у него и радость выражалась как-то болезненно, сомнение и горе не вызывало в нем бурной печали, но сказывалось глухим и мрачным страданием.

Минут 10 прошло, пока Лосницкий сидел так в совершенной тишине. Страшно длинны показались ему эти 10 минут, капли холодного пота выступили у него на лбу, лицо приняло угрюмое, напряженное выражение, которое как-то неприятно видеть.

Но вот в соседней комнате послышался шорох женского платья и шум шагов, дверь быстро отворилась, и молодая красивая женщина вошла в комнату. Лицо ее было очень бледно, беспокойство и тоска сказывались на нем, смущение и робость были в каждом движении, но в мягких и кротких чертах проглядывала несокрушимая сила и страсть; не всем видимая, но глубокая печать того рокового фанатизма, которым отличаются лица мадонн и христианских мучениц, лежала на этом лице. Все сомнения и предположения, все исчезло на минуту в душе Лосницкого перед чувством радости при виде ее.

Он подошел к ней и протянул ей руки. Увлеченная чувством признательности и радости, она подала было свои, но вдруг выдернула и закрыла ими лицо.

— Анна, что ты?—воскликнул он, пораженный таким движением.

— Зачем ты приехал,—проговорила она с тоской.

— Как зачем! Что ты говоришь?

Он смотрел на нее во все глаза и старался уразуметь смысл ее слов, между тем как сознание этого смысла ее слов уже сказывалось в его сердце нестерпимой болью. Она взяла его за руку и подвела к дивану, на который оба они сели рядом. Несколько времени они молчали.

— Разве ты не получил моего письма, того, где я писала, чтоб ты не приезжал?—начала она, не смотря на него, но крепко держа его руку.

— Не приезжал?.. Отчего?

— Оттого, что поздно,—проговорила она отрывисто.

— Поздно!—повторил Лосницкий машинально, и у него потемнело в глазах, несколько времени он не говорил ни слова.

— Анна,—начал он после долгого и тяжелого молчания,—мне нужно все знать, говори все, если не хочешь меня убить.

— Да, да, ты прав,—сказала она, пораженная его печалью и каким-то внутренним недоумением,—нужно обо всем с тобой говорить и как можно скорей, только не здесь, тут моя тетка может войти. Поедем к тебе, где ты остановился.

И, не ожидая его ответа, она вышла и через несколько минут возвратилась в шляпке и мантилье. Они вышли из дома. Карета, в которой приехал Лосницкий, стояла у под'езда, они сели в нее и отправились. Дорога была довольно длинная и шла по большим улицам. Лосницкий и Анна все время молчали. Молодая женщина неподвижно смотрела в окно и не выпускала его руки, лицо ее было бледно, но спокойно и серьезно. Прислонясь к углу кареты, Лосницкий, сидел как убитый, но временами он вздрагивал и судорожно жал руку Анны. Так прошло с полчаса, наконец приехали. Лосницкий вышел из кареты, взял под руку свою спутницу и повел ее через под'езд гостиницы. Встретившийся им в коридоре слуга осклабился было при виде хорошенькой женщины, но, взглянув на их лица, поспешно свернул с дороги и юркнул в свою конуру. Лосницкий и Анна вошли в номер. Анна хотела что-то говорить, но Лосницкий прервал ее.

— Я тебя потерял!—воскликнул он и, упав к ее ногам, громко зарыдал.

Молодая женщина кротко и грустно его успокаивала, но долго его болезненные рыдания сокрушали ее тихие речи, надрывая сердце обоих.

— Ну, рассказывай теперь,— говорил он после первых припадков печали, сидя с ней рядом на диване и с выражением бесконечной, почти отеческой нежности смотря на ее печальное и строгое лицо.

— Что рассказывать,— проговорила она тихо,— люблю другого, вот и все.—Он судорожно рассмеялся.

— А я-то какой глупец, представь себе, мой ангел, спешил-то как, думал здесь с тобой святки провести, веселиться,— право. Вот ведь судьба-то.— Он снова засмеялся, но через минуту сознание горя возвратилось во всей силе. Лосницкий вздохнул и опустил руку Анны.

— Давно?— спросил он после короткого молчания.

— Недавно... неожиданно, мы знакомы с самого моего приезда, но я не думала... Я все тебя ждала,— проговорила она живо, к нему обернувшись, и на лице ее мелькнуло выражение грустной иронии.— Только с тех пор, как он сказал, что меня любит, я потеряла голову.

— Кто он? Ты об нем все писала мне?

— Мой учитель пения.

— Этот итальянец?

— Да.

— Что ж он — молод, умен, красив?

— Зачем об этом спрашивать?— сказала молодая женщина, и щеки ее вспыхнули.

— Отчего ж,— сказал он улыбаясь. Несколько мгновений прошло в молчании. Лосницкий рассматривал Анну с каким-то наивным, почти ребяческим любопытством, отыскивая в ней следы прошлого. Она все та же, даже прическа и платье прежние, нового он заметил только кольцо на руке и невольно обратил внимание. „Это он подарил“— подумал Лосницкий, и не спрашивал, а только взглянул на нее. Она поняла его мысль и покраснела.

— Ты очень любишь его, Анна?— спросил он.

— Да,— проговорила она задумчиво.

— Я это знал, иначе и быть не могло, я только так спросил... Ты отдалась ему, Анна? Он бывает у тебя каждый день?

Молодая женщина быстро подняла голову и щеки ее покрылись красными пятнами, глаза блеснули из-под нахмуренных бровей, вся ее фигура мгновенно и резко изменилась под влиянием гнева.

— Молчи,— прошептала она отрывисто.

— Анна,— заговорил [он] с жаром, схватив ее руку,— ты не можешь меня подозревать в дурной мысли, потому что я любил тебя свято и бесконечно; ты знаешь, что помимо страсти моей к тебе ты мне дорога как друг единственный, как дочь, и счастье твое для меня — прежде всего.

Он говорил искренно, она это знала и с чувством пожала его руку.

— Ты ведь счастлива, Анна?

Она не ответила, точно не слыхала вопроса, только мускулы ее лица слегка вздрогнули.

— Неужели нет? О, Анна, да возможно ли это! Говори мне ради бога, мне нужно это знать.

— Не знаю,— проговорила она, с трудом пересилив волнение,— мне кажется, что он мало меня любит.

— Не любит!— с негодованием воскликнул Лосницкий.— Не любит, а добивался любви! Он с отчаянием схватил себя за голову и забегал по комнате.

— Слушай, Анна,— заговорил он почти вне себя от волнения,— ведь ты все такая же свободная, как была всегда, и с ним, ты не любишь его, как раба? Нет, это невозможно, зачем спрашивать. И как же ты так безвозвратно увлеклась? Он верно говорить хорошо умеет? Он горд и дерзок?

Анна как-то странно улыбнулась.

— Он очень молод,— проговорила она.— Он никогда не говорит фраз. Когда я его увидела в первый раз, я сказала себе, что этот человек не может лгать, и это так.

— Что он здесь делает?

— Он еще учится, а потом поедет за границу.

— И ты с ним поедешь? О, конечно поедешь везде[1]), на край света.

---

[1]) Так в подлиннике.

— Я поеду в деревню к дяде,— сказала Анна, заливаясь слезами.

— О, Анна, зачем ты так несчастлива!

Они еще несколько времени сидели вдвоем и разговаривали о посторонних предметах. Анна рассказывала ему о петербургской жизни, о людях, с которыми встречалась, расспрашивала его о прежних знакомых, слушала с большим интересом, хотя он не вдавался в подробности; ее собственные мнения были несколько резки, она не отличалась умеренностью ни в похвале, ни в осуждении.

— Ты все такая же,— говорил Лосницкий, слушая ее.— Трудно тебе будет жить с людьми, ты слишком увлекаешься, слишком доверчива. Много будешь ты страдать, Анна!

— Пускай,— сказала она,— пусть буду ошибаться, а верить все-таки не перестану. Есть же где-нибудь хорошие и добрые люди.

— Все добрые, Анна! Разве ты видела злых людей? Да что в этой доброте?

Анна подняла голову и смотрела на него удивленными, почти испуганными глазами, потом задумалась и все остальное время молчала.

Когда она ушла, Лосницкий, оставшись один, бросился на диван и пролежал весь вечер, как убитый. Мысль его, долго блуждая по бесконечному пустому пространству, которое ему представляло будущее, наконец в нем потерялась. Черная ночь расстилалась перед его глазами и захватила собой все. Лосницкий не старался освободиться от забытья; напротив, ему хотелось, чтоб оно продолжалось как можно дольше, чтоб рассвет не пробрался и не поразил его видом этой пустыни.

На другой день Лосницкий не выходил из дома, ожидая Анну, которая обещала притти утром и не пришла. На следующее утро он получил от нее записку, где она приглашала его к себе и писала, что немного нездорова. Лосницкий тотчас к ней отправился. Анна приняла его в своей комнате. Молодая женщина была немного бледна и взволнована, но казалась совершенно здоровой. На вопрос Лосницкого о здоровьи она отвечала небрежно и спешила заговорить о другом.

Но Лосницкий говорил о постороннем неохотно и даже как-то раздражительно.

— Ты мне говори о себе,—сказал он,—недолго нам придется видеться.

— Как, ты уже едешь?

— Что ж мне здесь делать? Я ведь для тебя только ехал.

Молодая женщина невольно вздохнула.

— Ты будешь писать мне, Анна, попрежнему, не так ли? Мы ведь друзья?

— О да, сказала она, протягивая ему руку.—Что ж ты так мрачен?—спросила она,—ты сердишься на меня? Я ни в чем не виновата.

— Знаю, все знаю, да не в этом дело. Больно мне, Анна, не могу я легко покончить с чувством. Я не молодой человек, в мои годы привязанностями не шутят. Ты много для меня значила. Твоя любовь сошла на меня, как божий дар, нежданно, негаданно, после усталости и отчаяния. Эта молодая жизнь подле меня обещала так много и так много уже дала, она воскресила во мне веру и остаток прежних сил.

„Хорошо ты этим воспользовался“ — подумала Анна, но не сказала ни слова.

Он продолжал:

— У меня ничего не оставалось от моей прежней бурной жизни и в тебе я все нашел. Я видел твою глубокую преданность и не думал ее пережить, я в нее свято, непреложно верил, я не думал, что каких-нибудь полгода разлуки — и все пройдет... Впрочем я сам виноват,— продолжал он после короткого раздумья,—я слишком увлекся, забылся, теперь для меня все ясно: ты никогда меня не любила. Не смотри на меня так строго, Анна, я правду говорю. Я видел твои страдания, твои порывы, но ты не меня любила, а кого-то другого во мне. Я ведь тогда еще говорил, что тебя не стою. Тебе пришла пора полюбить, около никого не было, я случайно подвернулся, и ты поверила, что это то, что тебе нужно. Я не мог понять этого во-время, я был слишком ослеплен, слишком счастлив... Что ж, — продолжал он после некоторой задумчивости и как бы говоря сам с собой,—я все-таки в выигрыше: у меня год счастья был и какого счастья!

— У меня есть к тебе одна просьба, Анна,—начал он после долгого раздумья.—Вот видишь, друг мой, моя жизнь кончена, плохо она была поставлена, не умел я с собой сладить, но теперь рассуждать поздно, не к чему, больше ждать нечего. Ты знаешь, Анна, что кроме тебя у меня нет никого на свете. Я хочу тебе отдать остаток моей жизни. Послушай, может-быть, когда-нибудь я могу тебе служить хоть чем-нибудь, мало ли что может быть? Ты еще только начинаешь жить; не в счастьи, но когда сомнения и горе нападут, когда не встретишь ты подле себя ни одного близкого человека, придешь ли ты тогда ко мне, как к другу, как к брату?..

— Да, да,—сказала молодая женщина с увлечением, в котором сказывалось, что она действительно считала его другом и, может быть, единственным. Это тронуло Лосницкого. Долго смотрел он на эту прекрасную женщину, пораженную печалью, но в то же время полную какой-то веры в будущее, во все, что ей казалось прекрасным, справедливым, и глубокая грусть овладела его сердцем.

— У тебя есть что-нибудь,—сказал он после долгого молчания,—какое-нибудь горе или недоумение.

— Ничего,—сказала она тихо и не смотря на него.

Он посмотрел на нее пристально.

— Ты видела его вчера?

— Нет.

— Отчего?

Она молчала и боролась с своим волнением.

— Его нет... Он уехал,—сказала она наконец с отчаянием, и слезы вдруг хлынули ручьем из ее глаз.

— Как! Уехал! Не простясь?

Анна быстро подняла голову при этих восклицаниях, слезы остановились на ее глазах. Она спокойно и холодно смотрела на Лосницкого.

— О чем же плакать?—сказал Лосницкий сухо, задетый ее гордым движением.—Он верно возвратится.

— О, конечно,—сказала она с жаром.—Я только не могу понять, что у него за дела такие? Он так спешил, едва несколько слов написал, из которых ничего не разберешь.

— Мало ли какие дела могут быть у мужчины.

Лосницкий встал и заходил по комнате, он, видимо, был встревожен.

— Странно мне это, Анна,—заговорил он, наконец, остановясь перед ней,—очень странно. В такое короткое время, как ты говоришь... И вдруг уехал внезапно и неизвестно куда, на несколько времени.

— Он очень молод,—сказала она,—притом он не знает, как я его люблю.

Лосницкий вздохнул и снова заходил по комнате.

— Прощай, Анна!—сказал он вдруг, остановясь перед ней.

— Как, ты уже уходишь?

— Да, пора... Дело есть; нужно письма кое-какие писать.

— Ну прощай. Завтра придешь?

— Да.

Они расстались. Лосницкий возвратился к себе. Нестерпимо скучна и гадка показалась ему его комната. Не будучи в состоянии приняться ни за какое дело, ни остановиться на какой бы то ни было мысли, он ходил по ней взад и вперед, потом взял шляпу, вышел из дому и долго бродил по улицам города без всякой цели, нигде не останавливаясь, ни во что не всматриваясь. К вечеру, усталый и расстроенный, возвратился он домой, лег на диван и пролежал весь вечер, уставив глаза в потолок и по временам тяжело вздыхая.

На следующий день Лосницкий не хотел ехать к Анне, но не удержался и после обеда заехал. Он застал ее дома и одну. Она была грустней обыкновенного, но старалась казаться спокойной. Лосницкий следил за ней, и ему стало жаль ее. Впервые он испытывал к ней это чувство, и ему было досадно. Чтобы как-нибудь рассеять Анну, Лосницкий предложил ей ехать в оперу. Она тотчас согласилась. Музыка произвела на Анну большое впечатление, молодая женщина оживилась и напомнила себя Лосницкому такою, какой он знал ее до того, и он снова чувствовал себя побежденным и преклонялся перед нею.

Прошло несколько дней.

Однажды утром Лосницкий только что проснулся и лежал еще в постели, как кто-то постучался к нему.

— Кто там?—крикнул он, не вставая.

— Я,— ответил тихий голос.

Сердце Лосницкого замерло.

— Анна!—вскрикнул он, не веря собственным ушам.

— Да... отворяйте скорей.

Лосницкий быстро вскочил с постели, наскоро оделся и открыл дверь. Анна вошла в комнату. Она откинула вуаль, и Лосницкий вздрогнул при взгляде на ее лицо. Оно было смертельно бледно и строго, губы крепко сжаты, глаза смотрели прямо, но с выражением ужаса и помешательства.

— Что с тобой, Анна? воскликнул Лос[ницкий].

— Ничего,—отвечала она медленно и слегка прерывающимся голосом.—Мне нужно говорить с тобой, нужно, чтоб ты ко мне пришел для этого, мне нельзя оставаться. Прощай. Приходи же.

— Приду, приду.

Она повернулась и вышла из комнаты. Это неожиданное явление поразило Лосницкого. Несколько времени он стоял, как вкопанный, силясь об'яснить его, наконец, бросился одеваться. Руки и ноги его дрожали и сердце сильно билось, когда он выходил из дрожек перед домом, где жила Анна; он предчувствовал что-то недоброе, но в доме было покойно и тихо попрежнему. Он не долго ждал Анны. Она вошла совсем одетая, хотя было еще очень рано, и казалась спокойною, даже веселою.

— Я не ожидала, что ты придешь так скоро,—начала она.

— Я поторопился, потому что, признаюсь тебе, ты меня испугала. Я рад, что нашел тебя спокойною... Впрочем, кто тебя разберет,—прибавил он,—ты всегда такая.

— Я только что завтракала,—сказала она, чувствуя, что спокойствие ее начинает ее покидать и желая удержать его.— Не хочешь ли, я принесу тебе чаю?

— Нет, пожалуйста, не беспокойся.

— Как знаешь.

Она встала и заходила по комнате. Мускулы ее лица начали как-то подергиваться, яркий румянец заиграл на ее щеках.

— Я хочу с тобой говорить,—сказала она и остановилась перед ним, потупясь; ее брови двинулись, и лицо сильнее

и чаще начало подергиваться, она повернулась и снова начала ходить по комнате. Мало-по-малу она начала успокаиваться, снова подошла к нему и села против него.

— Со мной произошла страшная история,—начала она медленно, почти торжественно... Я хочу, чтоб ты мне об'яснил, что это такое. Я расскажу тебе все. Ты знаешь меня, я хочу, чтоб ты меня судил. Ты помнишь, когда мы встретились в первый раз в этой глуши, куда ты был заброшен не по своей воле и где я пропадала с нелюбимым мужем среди антипатичных мне людей. Наше положение, мысли нас сблизили, мы пробудили сознание друг в друге и, очнувшись, испугались своего положения и бросились в об'ятия друг другу, боясь потеряться. Но не одно отчаяние воодушевляло меня, когда я тебе отдавалась, ты недаром мне говорил о своем обновлении. Я думала найти в ней [1]) спасение, цель, прибежище и ничего не нашла, кроме стыда и горя...

Тут она остановилась, не в силах далее продолжать от наплыва грустных воспоминаний, и закрыла руками лицо. Жестокая горечь ее слов глубоко уязвила Лосницкого. Он молчал и только смотрел на нее пристально. Она продолжала:

— Условия, при которых сложились наши отношения волею обстоятельств, были мне невыносимы по своей двусмысленности, но отказаться от тебя я не могла. Я все чего-то надеялась; когда же сердце мое было возмущено и ум встревожен, когда самое здоровье разрушалось, я решилась уехать. Я думала, что новая жизнь, новые лица рассеют мою тоску, но и здесь я нашла все не так, как думала. Я была одинока, когда встретилась с ним. Это живое лицо было так ново для меня и так полно интереса после общих приемов и фраз людей, которых я встречала до того времени. Он не поразил меня ни умом, ни знаниями, но все, что он делал и говорил, было его; в нем было все, чего я не видала до тех пор в других: страсть, смелость, простота. Он часто у меня бывал и когда увидел, что общество его мне нравится, стал бывать еще чаще; мы вместе читали, прогуливались, ездили в театр. Мне было хорошо с ним, легко

---

[1]) **Очевидно, в любви.**

свободно. Когда он заговорил о любви, я очень удивилась и обрадовалась, потом удивилась и испугалась тому, что обрадовалась. Потом я увидела, что я или должна ответить на его любовь, или тотчас расстаться с ним. На последнее у меня не достало бы сил... Я не требовала у него уверений и доказательств в любви, мне каждое слово, каждый жест его говорили о счастье без примеси тревог и сомнений. Я ничего больше не ждала. Мне нужно было только, чтоб его любовь была искренна...

Тут она остановилась. Воспоминание о прошлом овладело ею; она забыла об окружающем, о том, что говорила. Лосницкий следил за ней.

— Ну и что же?—сказал он наконец.

Она встрепенулась, щеки ее разгорелись.

— Он женится,—[сказала] она твердо и смотря прямо в глаза Лосницкому.

— Кто тебе сказал?

— Я знаю наверное.

Но Лосницкого не удивила эта весть. Напротив, он принял ее совершенно спокойно, как будто даже ждал, и был доволен ей, как развязкой.

— Кто же мне заплатит за мое страдание и... [1]), за все бессонные ночи!

Лосницкий доказывал ей, сколько тщетности и тщеславия в этом притязании; его доводы подействовали на Анну и гордость ее проснулась [2]).

На другой день Лосницкий нашел ее совершенно спокойною. Она встретила его с книгой в руках. Она читала. Л[осницкий] был в этот раз как-то разговорчив. Его рассуждения были глубоки и решительны, но вместе с тем неопределенны. Ни он, ни Анна не касались предметов им близких, хотя об были грустны, но мучительного страдания вчерашнего дня как не бывало. Этого не было однако на самом деле. К несчастью,

---

[1]) Не разобрано одно слово.

[2]) Дальше идет следующая зачеркнутая фраза: „В тот же вечер она писала встретившемуся нечаянно накануне молодому человеку, отсылая ему кольцо со своей руки“ (ср. записью Дневника от среды 23 августа 63 г.).

А[нна] не принадлежала к числу тех счастливых существ, в сердце которых сильно отражается радость и горе, но проходят не оставляя следа. Нет, что раз в него попадало, то клало неизгладимую печать. Так и теперь: черная дума легла на него и жгла его медленно, но верно.

Прошло шесть месяцев. В бедной деревушке Франции в соседстве какого-то... [1]) в светлой чистой комнате маленького домика, потонувшего в зелени и цветах, на диване лежала молодая женщина. По лицу этой женщины, освещенному неверным блеском догорающего солнца, по ее позе, трудно было различить: спала ли она, умерла, или просто задумалась. Ее ресницы были опущены, руки плотно лежали на груди, черные волосы длинными и спутанными прядями лежали на подушке. И странно было выражение ее лица; это выражение того спокойствия, которое добывается долгим страданием; в нем было что-то бесконечное: покорность ли судьбе, уверенность ли в близкое желанное будущее [2]) или последний покой. Мол[одая] жен[щина] сделала движение и открыла глаза; тихим взглядом окинула она комнату и снова закрыла их с выражением тоски и боли. За дверями послышался легкий шум, высокий бледный худой мужчина вошел в комнату и остановился у дверей. Она слегка приподнялась и, облокотясь на изголовье, смотрела на него кротким задумчивым взглядом.

— Отдохнула?— спросил он.

— Да—отвечала она машинально, с тем же задумчивым выражением, смотря через открытую дверь балкона в сад, где легкий ветер, качая красивыми гирляндами винограднпка, соединяющего оливковые деревья, разносил кругом благоухание южной весны и, разливая сладость и негу, убаюкивал душу, ставляя ее на время забыть зло и горе жизни. Л[осницкий] дошел к Анне и сел на стул подле ее дивана [3]). И между тем

---

[1]) Исправлено вместо: „Небольшом городе на юге Германии.

[2]) Так в подлиннике.

[3]) Здесь была попытка внести такой декоративный момент: „Он смотрел го на небо, загорающееся звездами, то на ее прекрасное лицо"; соответственно этому, намечалось в следующей фразе вместо: „он смотрел на ее прекрасное лицо"—„она смотрела в сад". Исправление не окончено.

как в голове ее складывался и развивался вопрос, какое проклятие лежит на людях, что они не могут пользоваться всеми дарами земли, он смотрел на ее прекрасное лицо и думал о другом. Лосницкий не сводил глаз с этого лица, и мало-помалу другое чувство, чувство тайной надежды и радости, сладкой до боли, чувство, в котором он не смел признаться самому себе, волновало его душу. Между мыслями и желаниями ее развлечь и успокоить, мыслями, которые до сих пор одни руководили им все время, пока он убеждал ее уехать и провожал в путешествии, являлась одна и против его воли господствовала над всеми другими,—эта мысль была: она здесь, со мной, теперь от меня зависит ее к себе воротить.

— О чем ты думаешь?—спросил он ее, чтобы только отвязаться от этой докучливой мысли.

— О чем?—повторила она машинально, все еще смотря в двери балкона, и после короткой задумчивости отвечала:— Я вспоминаю, как первый раз в'езжала в Петер[бург], какие надежды были у меня тогда, и что с ними стало. Я сравниваю чувства, с которыми в'езжала в Петер[бург], с теми, при которых его оставляла... Ах, как тяжело мне было оставить Пет[ербург], как тяжело! я как будто в нем покидала дорогие могилы.

— Зачем так думать?—с жаром заговорил Лосницкий,—у тебя молодость впереди, воплощение любимой идеи; разве это шутка.

Она сделала движение головой, не ответила и снова пристально стала смотреть в двери балкона.

Воплощение любимой идеи! Эта мысль неопределенно пронеслась в голове Анны, задевая все струны ее чуткого организма, и произвела в нем странное движение; но это движение мало по-малу успокоилось и пришло к одному более ясному сознанию: итак, я опять свободна! Нет более рабской тревоги ожиданий и страха, не за что бояться, нечего терять. Мечта о счастье — бред праздной фантазии, жалкое убежище трусов и малодушных — рассеялась, и действительность, голая действительность, стоит одна, сухая, голодная. Будущность открыта. Выбирай дорогу.

Долго оставалась Анна под влиянием этих дум, не обращая внимания на Лосницкого, точно не замечая его присутствия.

В нем вспыхнула досада. Он, не владея собой, быстро встал и пошел из комнаты.

— Куда ты?—спросила Анна,—приподняв голову с подушки.

— Я?...—проговорил он, стараясь скрыть волновавшие его чувства, — я думал, что, может быть, тебе мешаю. Тебе, может, хочется быть одной.

— Нет, мне лучше с тобой,—сказала она просто и не замечая,—что в нем происходило.

Он быстро повернулся при этих словах, но вдруг остановился и медленно подошел к стулу, стоявшему довольно далеко от нее. Она его попросила сесть ближе. Анна начала говорить, какой эгоисткой вела она себя до сих пор, во все время их 4-месячного путешествия занималась одной собой и даже как будто не замечала внимания его к себе. Она спешила его уверить, что знает и ценит все, что он для нее сделал и что он сделал для нее гораздо более, чем ему самому кажется; она говорила, что этот от'езд и присутствие близкого человека, поддерживающего ее сильным словом, которое всегда имело над нею власть, спасли ее от ужасного отчаяния. Она прибавила, что давно ей хотелось все это ему высказать, но как-то не выговаривалось.

Я не смела тебе говорить этого,— сказала она, потому что прежде была часто несправедлива к тебе. Я как то тебе сказала перед нашим от'ездом из П[етербурга], что любовь твоя ничего мне не принесла, кроме страдания. Это было несправедливо сказано. Я была счастлива!— сказала она с грустным волнением.

Эта теплая речь—самый ее взволнованный голос, который не переставал быть тихим, иногда по временам поднимался и звучал торжественно и пророчески, в то время когда она лежала, сложив на груди руки и опустив ресницы, то опускался, выражая глубокую и решительную покорность тому, чего нельзя изменить,—наполнили его сердце восторгом и обожанием. Она давно перестала говорить и лежала в той же позе с закрытыми глазами, а он все еще смотрел на ее взволнованное добрым

чувством лицо, под влиянием чувств, внушенных ее словами, не имея сил ни выразить их, ни от них освободиться.

— Умеешь ты хорошие слова говорить, Анна,—сказал он наконец. Анна ничего не сказала и впала в прежнее раздумье, тогда как он думал только о ней. Самое молчание ее, самую задумчивость он об'яснил в свою пользу, как выражение того, чего она не договорила словами. Она сделала какое-то движение головой, повернула ее к свету, он вскочил со стула и бросился вперед, но вдруг остановился, смущенный и нерешительный.

— Что ты?—спросила она спокойно и смотря в потолок.

— Я хотел подвинуть стол, он не у места,—пробормотал он [1]).

— Так переставь.

— Нет, не нужно — сказал он после, возвращаясь на прежнее место.

Она промолчала.

— Ты не знаешь, что со мной сейчас было,—начал он через минуту и взволнованным голосом.

— Что? спросила она тревожно, приподняв голову и устремив на него испуганные глаза.

— Ты не рассердишься?

— Что такое?

— Я только что хотел подойти и целовать твою ногу, но задел за этот ковер и опомнился.

Краска стыдливости подступила к благородному, целомудренному челу Анны и придала ее лицу чисто девическое выражение.

— Зачем это?— проговорила она с мольбой в голосе и инстинктивно задернула полой длинной пестрой блузы конец своей узкой туфли.

— Ты должна меня извинить, Анна,— сказал смущенный Л[осницкий].

— О да! только не говори более об этом.

---

[1]) Здесь первоначально было, как в Дневнике: „Закрыть окно" потом: „поправить лампу" и, наконец, последнее; соответственно менялась дальше и ее реплика: 1) „закрой", 2) „поправь" и 3) „переставь".

Но такое великодушие не очень польстило Лосниц [кому]. Он завел вскоре разговор, самый обыденный, но что-то не вязалось; взгляды Лосницкого останавливались на Анне с большим упорством и страстью, он забывал, о чем говорил. Анна это заметила и оно ее встревожило. Анна встала с постели, подошла к своему письменному столу, быстро позвонила и сказала слуге, чтоб подал огня, и села у открытого окна [1]).

— Ты скоро уйдешь к себе?—спросила она его.

— А что?

— Так... Я спать хочу.

— Так рано?

— Да, я как-то устала.

Лосницкий молча подошел к ней, поцеловал обе ее руки и решительно вышел [2]). Анна заперла за ним дверь и не раздеваясь бросилась в постель. Долго она лежала, думая невольно о своем положении и волнуясь какими-то неприятными чувствами, так и уснула с ними не раздеваясь, не погасив даже лампы.

На следующий день Анна встала очень поздно. Лосницкий долго ждал ее в соседней комнате, которая, разделяя две их комнаты, служила им залой и столовой. Завтрак давно стоял на столе, но Лосницкий не думал за него браться. Он ходил взад и вперед по комнате, по временам останавливаясь и прислушиваясь к движению в комнате Анны или просто смотря в окно. Наконец А[нна] показалась. Она была спокойна, как всегда, и грустно величава. Они сели завтракать, но ему показалось в ее позе что-то особенно гордое и насмешливое. Он встретил ее как-то смущенно. Они сели завтракать. В обращении Лос[ницкого] с Анной все это утро все проглядывала какая-то неровность, он не мог как-то попасть в колею, но простота и

---

1) Здесь справа такая приписка: „между тем настала ночь и покрыла все непроницаемой чернотой, но лунный свет пробирался в высокие окна, яркими полосами прорезывал темноту и как-то странно фантастически мешался с нею, наполняя ее волшебством и таинственностью.

2) Первая редакция, зачеркнутая, была такая: после—„я как-то устала“, следовало: „Но он не тронулся, пока через несколько минут она не напомнила ему, чтобы он ее оставил. —Не хочется уходить от тебя—сказал он со вздохом, однако встал, поцеловал на прощанье ее обе руки...“

искренность Анны, ее добрые доверчивые слова навели его на настоящий путь, и Лос[ницкий] хоть пополам с грустью, но с благородной решимостью протянул ей руку.

— Анна,—заговорил он,— вчера я был глуп и низок, я виноват перед тобой, простишь ли ты меня? И Анна радостно приняла это раскаяние, обещала забыть вчерашнее, сознаваясь, как это было тяжело. Он уверял, что увозил ее без всякого расчета, хотя и была у него какая-то неопределенная надежда; когда же вдруг он увидел себя с ней одних посреди чужих мест, незнакомых людей...—его рассудок помутился. Он обещал ей на будущее быть ее другом, защитником, чем только она сама захочет, несмотря на то, что страсть ее к другому и, вследствие ее, сложившиеся между ними новые отношения сделали ее вдвое привлекательнее.

Анна верила его обещанию, точно так, как он сам ему верил, и смело доверилась будущему. Весь этот день они провели вместе в прогулках и разговорах. Лосницкий пустился в рассуждения и разные отвлеченности. Это настроение увлекало его тем более, что оно видимо занимало Анну; в таких рассуждениях он забывал самого себя. Но это счастливое расположение продолжалось не долго, не более одного только дня, затем скука, досада и грусть попеременно овладевали им.

По мере того, как Анна становилась спокойнее, когда едкое разрушающее страдание ее сердца переходило в тихую меланхолию, и она понемногу возвращалась к прежним занятиям и привычкам, когда любимые книги появились у ней на столе, любимые мелодии, сопровождаемые ее голосом, раздались в их молчаливом жилище, выражая на разные вариации одну и ту же неизлечимую скорбь,—он сделался мрачен, раздражителен или не выходил из своей комнаты по целым дням. Часто, когда он сидел неподвижно в углу или по целым часам молча ходил по комнате, молодая женщина украдкой взглядывала на него из-за своей книги, и сердце ее робко сжималось. Она сознавала, что вся его любовь, все старания и заботы остаются без возмездия, и это начинало тяготить ее. Однажды, когда он сидел в своей комнате, облокотясь руками на стол и склонив голову с усталым и грустным выражением лица, Анна несколько раз проходила мимо и заглядывала в отворенную

дверь; он не замечал ее или делал вид, что не замечает. Вдруг она вошла, подошла к нему и встала на колени, чтоб прямо смотреть ему в лицо.

— Прости меня,—проговорила она, взяв его за руки и устремив на него грустный, проникающий в душу взгляд. Он взглянул на нее с притворной рассеянностью и улыбнулся.

— Прости меня—повторила она и продолжала на него глядеть тем же глубоким, кротко-любящим, грустно умоляющим взглядом, которым точно хотела излить всю душу.—Вот этот взгляд мне знаком,—сказал Лосницкий тронуто и тихо гладя ее волосы:—давно я его не встречал.

— Отчего ты такой мрачный? Зачем не хочешь быть весел?—говорила она задумчиво и ища выражения.

— Полно, что ты! Отчего не весел? Так.

— Ты не хочешь говорить со мной! Ты сердишься.

— Что за вздор!—проговорил Лосницкий и невольно вздохнул.

— Скучно мне,—начал он серьезно и печально,—все чужое кругом, все постылое. Я поехал с тем, чтобы тебя занять, успокоить, развлечь, дать работу голове, и вот уже четыре месяца, как мы в раз'ездах, и ты только грустишь и, кажется, ничего больше знать не хочешь.

— Разве ты не знаешь меня? Я всегда такая была.

— Была, это так, но теперь, когда ты свободна итти куда хочешь, делать что хочешь. Скажи, чего недостает тебе?

— Чего? Я все потеряла. У меня ничего нет. Моя молодость прошла без радости, я истощила себя в ежедневной борьбе с людьми и обстоятельствами, мои силы не вынесли, и люди заклеймили меня насмешкой и презрением, родные отвернулись от меня. Куда я пойду? Кому я нужна? Что начну делать?

— Разве нельзя создать себе дело, заставить любить и уважать себя? Нет, это не то. Тут есть другая более основательная причина, то, что меня возмущает и чего я не могу об'яснить себе. Скажи лучше, что ты любишь...—И он пристально смотрел на нее.

Бледные щеки Анны мгновенно вспыхнули, но через минуту стали еще бледнее.

— Ты молчишь... Ты не хочешь меня опровергнуть!...

Анна в самом деле молчала.

Она сидела, погруженная в какую-то думу, не то занятая мечтой о будущем, не то воспоминанием о прошлом, только мысли ее были далеко, очень далеко.

— Ты любишь, значит ты надеешься.

— Мне нечего надеяться,— сказала она.

— Ты рассуждаешь так рассудком, но у сердца своя логика. Он ждал возражения, но его не последовало, напротив: Анна встала и пошла вон, она ушла в свою комнату и затворила за собой дверь.

Прошло несколько дней. Был тихий ясный вечер. Лосницкий и Анна шли по дороге в поле, не далеко от своего дома. Они прогуливались. Анна была в спокойном, созерцательном настроении духа, она все время молчала. Лосницкий тоже казался задумчивым, но он по временам взглядывал на лицо Анны, это чудное лицо, которое было изображением ее души и отражало на себе каждое ее движение. В эту минуту Анна всецело поддалась влиянию окружающей ее природы. Перед ней стоял город, резко выдавался он своим темно-серым грязноватым колоритом на ярком фоне неба; остроконечные главы его церквей далеко бежали вверх и незаметно терялись в блестящем пространстве. Между ними поднималось какое-то огромное полуразрушенное здание. Оно возвышалось над всем окружающим, как хищное тело обезглавленного исполина, выставляя на удивление веков свои грандиозные атлетические формы. Какое-то кудрявое растение украшало его сверху, оно покрывало его обезображенные члены и, далеко протягиваясь гибкими ползучими ветвями, старалось заключить его в нежные об'ятия. С другой стороны выдавались, нарядные в своем снеге, окрашенные нежными цветами солнечных лучей, не высоко[1]) Совены. Чистый прозрачный воздух юга, с доверчивой любовью обнимая все окружающее, выставлял его особенно рельефно; самых отдаленных предметов он не прятал в таинственном тумане от влюбленного взора человека.

Утомленная наслаждением этого зрелища, Анна остановилась. Она села на землю на краю возвышения, круто проре-

---

[1]) Так в подлиннике.

занного дорогой, и вся душа ее перешла во взоры... Сердце ее наполнилось чудным спокойствием.

— О чем ты задумалась?—спросил ее вдруг стоящий подле нее Лосницкий.

— Так.

— А я все смотрел на тебя в это время. У тебя бывает иногда странное лицо, когда ты задумываешься, так и теперь оно так быстро и резко менялось... Как жаль, что ты не можешь видеть в эти минуты своего лица! Ты ведь понятия не имеешь о нем. Оно так хорошо! Я вспоминаю теперь суждения людей о твоей красоте. Но что эта красота, о которой они толкуют, перед той, которую знаю я один.

— Пожалуйста—не говори о моем лице,—перебила его Анна.

— Я знал, что ты рассердишься, а все-таки сказал.

— Ну, довольно, пойдем,—сказала А[нна] вставая.

— Тебе, кажется, и то неприятно, что я любуюсь тобой; я тебя понимаю,—сказал с горечью Лос[ницкий].

— Вот выдумал еще, перестань!

— Хорошо. Пойдем. Но куда итти?

— Куда хочешь,—сказала А[нна], и Лос[ницкому] послышалась в ее голосе знакомая нота: не то грусти, не то апатии или того и другого вместе. Забывая себя, он с особенной нежностью взял руку Анны и повел молодую женщину домой. Она следовала за ним почти машинально, но от нее не скрылось его сердечное движение, и в свою очередь сердце Анны наполнилось грустной нежностью. Воспоминание первой любви, воспоминание молодости повеяли на нее и перешли в тихую нежную меланхолию.— Куда все это прошло?—подумала она. И вместо всякого ответа явился ей другой вопрос: Неужели все кончено? И затем следовал целый ряд вопросов.

Между тем они дошли домой. Анне, может быть, в первый раз хорошо и отрадно показалось в ее комнате, где все приготовлено и приноровлено к ее вкусу и привычкам его заботливостью. Она села на свое широкое, низкое кресло, он поместился подле. Ей стало привольно и уютно, она повеселела; острые шутки, смех и разговоры полились у ней рекой, но вскоре она замолкла. Лосницкий старался поддержать в ней веселое настроение. С этой ли целью или про-

сто увлекшись неожиданным приливом общей веселости, он стал ей рассказывать разные анекдоты и случаи из собственной жизни. Эти рассказы, может быть, были бы любопытны для других, но Анна не находила в них ничего остроумного и еще менее изящного. Она слушала молча и серьезно, но когда дело дошло до похождений Лос[ницкого], в последнее отсутствие Анны, с одной веселой дамой города Б., когда явились на сцену разные выходки легкой женщины и не менее легкого в отношении ее человека, рассказанные небрежным циническим тоном, — Анна не выдержала и просила его больше не рассказывать. Ее поразило в нем это молодечество, которым тщеславятся особенного сорта мужчины, но в нем она его не ожидала.

Анна мало знала Лосницкого; в ее прежних сношениях с ним было столько серьезного и отчаянно горького, что оно исключало обыденную часть характера, которая так важна в интимном кругу.

— Мне странно твое неудовольствие,—сказал Лосницкий.— Впрочем, в тебе это совершенно женская черта. Подобные отношения мужчины к женщинам, о которых я тебе рассказывал сейчас, очень естественны и извинительны, они даже необходимы и не только не мешают настоящей высокой любви к другой женщине, но еще и увеличивают и поддерживают ее. К сожалению, ни одна женщина не в состоянии этого понять...

Анна все больше и больше удивлялась: „Я этого не ожидала, совершенно не ожидала“, говорила она. И выпрямив свой стройный, величавый стан, она заходила по комнате.

— Тебе это кажется грязным,— сказал Лос[ницкий],— но поверь мне, что сердце мое способно любить и понимать прекрасное.

Анна, разумеется, ничего на это не ответила.

Видя такое расположение, Лосн[ицкий] стал прощаться и как ни рано еще было, но Анна его не удерживала.

Анне в короткое время пришлось открыть не одну черту из мнений и взглядов Лосницкого, которые ей крайне не нравились. Образ жизни их, уединенный и однообразный, лишенный крупных интересов, где человек мог бы высказаться вполне, еще более способствовал выражению мелких сторон характера

и неприятных по этому поводу столкновений. Анна жестоко восставала против всего, что она считала недостатком или слабостью, никакой ум, никакое сердце не могли ее заставить забыть о них. Она относилась к ним тем более враждебно, что когда-то этот человек ей казался совершенством. В ее строгих суждениях Лосниц[кий] видел только нападки, придирки к человеку, который вдруг сделался не мил и к которому беспричинное охлаждение она искала оправдать чем-нибудь. Известно, что при таком настроении обоих жизнь их вместе шла крайне плохо. Исчезли даже те братские доверчивые чувства, на которые они могли рассчитывать друг перед другом как друзья. Отношения их становились белее чем холодны и натянуты. Они были невыносимо тяжелы для обоих. Лосницкий видел, как трудно и опасно его положение, он видел, что, оставаясь при ней, он рискует потерять свое последнее благо, ее уважение, и не мог ни на что решиться... Между тем жизнь, которую они вели, отсутствие всякого дела, всякого круга, при взаимном несогласии, становилась ему невыносимой. Он предложил Анне ехать назад в Россию, забывая, впрочем, подумать, насколько это для нее будет лучше. Анна согласилась без противоречия, без малейшего раздумья, не спросив даже, когда и как. Казалось, ей было все равно, где жить и как и с кем, репутацией своей она мало дорожила, так как не для кого и не для чего было ей дорожить ею. Но Л[осницкий] не торопил ее от'ездом. Он ждал чего-то.

Между тем с некоторых пор с Анной произошла перемена. Какое-то странное лихорадочное волнение охватывало по временам все ее существо. Она удалялась всякого общества, уходила в дальние уединенные места своих обыкновенных прогулок и там, ходя взад и вперед по холмам, что-то соображала. Или она хваталась за книги и просиживала над ними дни и ночи, делала толстые тетради и торопливо в них писала или записывала, но скоро она бросала книги, как бы не находя в них того, чего искала, и уже ничего больше не читала, и впадала в какое-то нравственное оцепенение. Недавно появившийся румянец исчез с ее лица, темная желтизна покрыла ее прозрачную кожу, синеватые круги показались под глазами, и из-за них эти большие глаза казались еще больше и выразительнее

Тихо и величаво бродила молодая женщина по окрестным холмам, задумчиво смотрела каждый вечер, как догорал яркий торжествующий день, без радости встречала новый и все думала, думала... Или она садилась на берегу небольшой речки и смотрела на тихие однообразные волны. Лениво и сонно катились они перед ее глазами, гонимые сверху какой-то невидимой силой, по временам ударялись о берег, быстро отскакивали, сталкивались, кружились, дробились на мелкие струйки, потом складывались снова в прежнюю форму и бежали опять с прежней безмятежностью, не спеша и нигде не останавливаясь, с одинаковым постоянством, уступая место другим волнам, следовавшим за ними. Анне, казалось, не наскучивал один и тот же вид, напротив, она с участием следила за постоянной сменой ночи днем и дня ночью, жизни и смерти, находя в них что-то общее с жизнью. Книги утратили для нее прежний интерес, они ничего не решали, а только затмевали и усложняли бесчисленные вопросы, которые складывались в ее голове.

Лосницкий с беспокойством следил за ней, он умолял ее советоваться с докторами, лечиться, но она упорно отказывалась Л[осницкий] не знал что делать: оставаться или куда-нибудь ехать, но случившееся вскоре обстоятельство разрешило его недоумение.

Однажды А[нна] по обыкновению ушла гулять рано утром и не возвращалась целый день. Сначала Л[осницкий] не беспокоился, так как она не первый раз уходила так надолго, но когда настал вечер и на дворе стемнело, а ее все не было, сердце его боязливо вздрогнуло, и он бросился из дома по направлению тех мест, куда чаще всего хаживала А[нна]. Он стучался в хижины, останавливал прохожих, спрашивал с возрастающим беспокойством тех и других, не видалиль они такой-то дамы. Более или менее неудовлетворительные ответы, которые ему давали крестьяне, только усиливали его смущение и страх. Одни видели м[олодую] ж[енщину] утром подле речки, другие три дня тому назад: она просила напиться и спрашивала, где переход через речку и как глубока вода.

Выбившись из сил от усталости и тревоги, Л[осницкий] решился итти домой, думая может быть найти ее там. Все спало

крепким сном, когда он пришел в город. Огни все погасли. Л[осницкий] едва достучался в своей квартире. На вопрос его, дома ли А[нна], старый слуга посмотрел на него с недоумением, видно было, что он не знал или забыл об отсутствии мол[одой] ж[енщины]. Чувство негодования вспыхнуло в сердце Л[осницкого], но скоро смирилось и перешло в беспомощную тоску и мрачное уныние. Молча обошел он пустые комнаты и сел у окна, не зная что делать, на что решиться. Предчувствие беды овладело им в эту минуту. Он все сидел, склонив голову на руку и ожидая чего-то, пока тяжелый беспокойный сон не овладел им, заставляя забыть все, даже самое горе.

Когда он проснулся, солнце стояло высоко и озаряло город роскошным своим блеском, сообщая всему радостный вид. Всякий был занят обыкновенной своей деятельностью. Люди работали, покупали, продавали и толковали, особенно много толковали по поводу только что найденного в реке трупа мол[одой] женщины. Предполагалось, что она упала в воду при переходе через реку по узкому мостику, так как труп ее нашли подле этого моста и на самой середине, где вода быстрее. Должно быть, у ней закружилась голова, глядя на быстро текущую воду, но бог, который видит намерения и дела людей, знает лучше. Мы же со своей стороны не хотим ни отрицать, ни подтверждать такого предположения.



ПИСЬМА

ПИСЬМА ДОСТОЕВСКОГО К СУСЛОВОЙ [1])

1.

Вторник [22/10 августа, 1865 г.] [2]).

Милая Поля, во-первых не понимаю как ты доехала. К моей прескверненшей тоске о себе прибавилась и тоска о тебе.

Ну что если тебе не хватило в Кельне и для третьего класса? В таком случае ты теперь в Кельне одна, и не знаешь что делать! Это ужас. В Кельне отель, извощики, содержание в дороге — если и достало на проезд, то ты всетаки была голодная. Все это стучит у меня в голове и не дает спокойствия.

Вот уж и Вторник, два часа пополудни, а от Г—на ничего нет, а уж время бы. Во всяком случае буду ждать до после-

---

[1]) Зачеркнутые автором слова включены в квадратные скобки: [ ]

[2]) Датируем это письмо, как и следующие два, 1865 г. по следующим соображениям. Во-первых, письмо из Висбадена; Достоевский жил там в крайней нужде именно в этом, 1865 году; в 1864 г. он оставался весь год в Петербурге. Что касается более ранних годов: 1862 и 1863, то Надежда Суслова, которая упоминается в этих письмах, как находящаяся за границей,— жила в эти годы в Петербурге (см. выше названные биографии ее; это же видно и из нашего очерка). Также и Герцен,—о котором говорится в этих письмах, что он в Женеве,— проводил лето в Женеве только в 1865 г. (см. „Герцен“, под ред. Лемке, т. 18, стр. 85 и дал.). Наконец, *четверг* — 12 *августа* (дата Д. на 3-м письме) было в 1865 г. См. еще письма Достоевского к Врангелю из Висбадена же, сходные по своему содержанию с этими письмами (Страхов, биография... стр. 160—165).

Правда, смущает нас несколько тот факт, что Достоевский ждет денег из „Библиотеки для Чтения“ от Воскобойникова, в то время как в 1864 г. он с редактором „Библиотеки“ Боборыкиным резко разошелся (см. письмо Достоевского к Боборыкину, Страхов, стр. 158—160). Но, очевидно, позднее между ними произошло примирение, о чем свидетельствует то соглашение, в которое Достоевский вступил именно с „Библиотекой“, когда „Эпоха“ прекратилась, и нужно было удовлетворить ее подписчиков.

завтрого утра, а там и последнюю надежду потеряю. Во всяком случае одно для меня ясно: что если никакого не будет от Г—на известия,—значит его и в Женеве нет, т.-е. может быть куда-нибудь отлучился. Я потому так наверно буду заключать, что с Г—ном я в очень хороших отношениях и стало-быть быть не может, чтоб он *во всяком случае* мне не ответил, даже еслиб и не хотел или не мог прислать денег. Он очень вежлив, да и в отношениях мы дружеских. А след. если не будет *никакого* известия, стало-быть его нет в Женеве в настоящую минуту.

Между тем положение мое ухудшилось до невероятности. Только что ты уехала, на другой-же день, рано утром, мне об'явили в отеле, что мне не приказано давать ни обеда, ни чаю, ни кофею. Я пошел об'ясниться и толстый немец-хозяин об'явил мне, что я не „заслужил" обеда и что он будет мне присылать только чай. И так со вчерашнего дня я не обедаю и питаюсь только чаем. Да и чай подают прескверный, без машины, платье и сапоги не чистят, на мой зов нейдут и все слуги обходятся со мной с невыразимым, самым немецким презрением. Нет выше преступления у немца как быть без денег и в срок не заплатить.—Все это было-бы смешно, но тем не менее и очень неудобно. И потому если Г—н не пришлет, то я жду себе бо́льших неприятностей, а именно: могут захватить мои вещи и меня выгнать или еще того хуже. Гадость.

Если ты в Париж доехала и каким-нибудь образом можешь добыть хоть что-нибудь от своих друзей и знакомых, то пришли мне — maximum 150 гульденов, а minimum сколько хочешь. Еслиб 150 гульденов, то я бы разделался с этими свиньями и переехал-бы в другой отель в ожидании денег. Потому что быть не может, чтоб я скоро не получил и во всяком случае тебе отдам задолго прежде от'езда твоего из Франции. Во-первых из Петербурга (из библ. для Чтения) *наверно* пришлют самое большее дней через *10* на имя сестры твоей в Цюрих, и во вторых еслиб даже Г—на и не было в Женеве, то во всяком случае если он надолго [1]) уехал из Женевы, то ему стало-быть пересылают приходящие на его имя в Женеву

---

[1]) Последние три слова написаны сверху над зачеркнутыми: „ему перешлю".

письма; а если он не надолго уехал, то стало быть, воротившись, сейчас ответит, а след. я во всяком случае скоро получу от него ответ. Одним словом, если что можешь сделать для меня, но не отягчая очень себя, то сделай. Адрес мой тот-же Viesbaden, Hotel Victoria.

До свидания милая, не могу поверить, чтоб я тебя до отезда твоего не увидел. Об себе-же и думать не хочется; сижу и все читаю, чтобы движением не возбуждать в себе апетита. Обнимаю тебя крепко.

Ради бога не показывай никому письмо мое и не рассказывай. Гадко. Твой весь ФД.

— подробно опиши мне свое путешествие если были неприятности. Сестре поклон.

Если-же Герцен пришлет до твоего письма, то я, во всяком случае, уезжая из Висбадена сделаю распоряжение, чтоб мне письмо твое переслали в Париж, потому что я туда немедленно поеду.

2.

Четверг, 24/12 Августа [1865 г.] [1])

Я продолжаю тебя бомбардировать письмами (и все нефранкированными). Дошло ли до тебя мое письмо от третьего дня (от вторника)? Доехала-ли ты сама в Париж? Все надеюсь получить от тебя сегодня известие.

Дела мои мерзки до nec plus ultra; далее нельзя идти. Далее уж [следует] должна следовать другая полоса несчастий и пакостей, об которых я еще не имею понятия. [Гер.] От Герцена еще ничего не получил, никакого ответа или отзыва. Сегодня ровно неделя как я писал ему. Сегодня-же и срок, который я еще в Понедельник назначил моему хозяину для получения денег. Что будет — не знаю. Теперь еще только час утра.

Быть не может, чтоб Герц. не хотел отвечать! Неужели он не хочет отвечать? Этого быть не может. За что? Мы в отношениях прекраснейших, чему даже ты была свидетельницею. Разве кто ему наговорил на меня? Но и тогда невозможно

---

[1]) Датир.—см. прим. к 1-му письму.

(даже еще более тогда невозможно) чтоб он *ничего* не отвечал мне на письмо мое. И потому я еще убежден, покамест, что письмо мое к нему или пропало (что мало правдоподобно), или он, к несчастью моему, теперь отлучился из Женевы. Последнее самое вероятное. В таком случае должно выдти вот что: или 1) Он отлучился не на долго, и в таком случае я все таки на днях (когда он воротится) могу надеяться получить от него ответ; или 2) Он отлучился надолго и в таком случае, всего вероятнее что ему перешлют письмо мое, где-бы он ни был, потому что наверно уж он сделал распоряжение о пересылке к нему писем, приходящих на его имя. А следств. я опять таки могу надеяться получить ответ.

Надеяться получить ответ буду всю неделю до воскресения,— но разумеется только надеяться. Положение-же мое таково, что уж теперь одной надежды мало.

Но все это ничто, сравнительно с тоской моей. Мучит меня бездействие, неопределенность выжидательного положения без твердой надежды, потеря времени и проклятый Висбаден, который до того мне тошен что на свет не глядел-бы. Между тем ты в Париже и я тебя не увижу! Мучит меня еще Герц. Если он получил от меня письмо и *не хочет* отвечать—каково унижение и каков поступок! да неужели я заслужил его, чем-же? Моей беспорядочностью? Согласен, что я был беспорядочен, но что за буржуазная нравственность! По крайней мере отвечай, или я не „заслужил“ помощи (как у хозяина обеда). Но быть не может чтоб он не отвечал, его наверно нет в Женеве.

Я просил тебя чтоб ты меня выручила, если можешь занять у кого-нибудь для меня. Я почти не надеюсь, Поля. Но если можешь, сделай это для меня! Согласись что трудно сыскать положение хлопотливее и[1]) тяжеле того, в котором я теперь нахожусь.

Это письмо мое будет последнее до тех пор пока не получу от тебя хоть какого нибудь известия. Мне все кажется, что в Hotel Fleurus письма как-нибудь залежатся или пропадут если ты не там сама. Потому не франкирую что нет ни ко-

---

[1]) Последние два слова написаны сверху.

пейки. Продолжаю не обедать и живу утренним и вечерним чаем вот уже третий день—и странно: Мне вовсе не так хочется есть. Скверно то, что меня притесняют и иногда отказывают в свечке по вечерам, [особенно] в случае если остался от вчерашнего дня хоть крошечный огарочек. Я, впрочем, каждый день в три часа ухожу из отеля и прихожу в шесть часов, чтоб не подать виду что я совсем не обедаю. Какая хлестаковщина!

Правда есть отдаленная надежда: Через неделю и уж самое позднее дней через десять получится что-нибудь из России, (через Цюрих). Но до тех пор, мне без помощи добром не прожить.

Не хочу впрочем верить что не буду в Париже и тебя не увижу до от'езда. Быть того не может. Впрочем в бездействии так сильно разыгрывается воображение. А уж у меня полное бездействие.

Прощай, милая. Если не случится никаких приключений очень особенных, то больше писать не буду. *До свидания*. Твой весь Дос.

P. S. Обнимаю тебя еще раз, очень крепко. Приехала ли Над. Прок. и когда? Кланяйся ей.

4 часа.

Милый друг Поля, сию минуту получил ответ от Герц. Он был в горах и потому письмо запоздало. Денег не прислал; говорит что письмо мое застало его в самую безденежную минуту что 400 флор. не может, но что другое дело 100 или 150 гульд., и если мне этим было-бы можно извернуться, то он бы их мне прислал. За тем просит не сердиться и проч. Странно однако же: Почему-же он все таки не прислал 150 гульд.?[1]) если сам говорит что мог-бы их прислать. Прислал-бы 150 и сказал-бы что не может больше. Вот как дело делается. А тут очевидно: или у него самого туго, т. е. нет или жалко денег. А между тем он не мог сомневаться что я не отдам: письмо-то мое у него. Не потерянный-же я человек. Верно у самого туго.

---

[1]) Написано сверху над строкой.

Посылать к нему еще просить — по моему невозможно! Что-же теперь делать? Поля, друг мой, выручи меня, спаси меня! Достань где нибудь 150 гульденов, только мне и надо. Через 10 дней, *наверно* придет от Воскобойникова в Цюрих (а может и раньше) на имя твоей сестры. Хоть и мало придет, но все таки не меньше 150 гульденов и я тебе отдам их. Не захочу-же я, *тебя*, поставить в скверное положение. Быть того не может. Посоветуйся с сестрой. Но во всяком случае отвечай скорее. Твой весь

Ф. Достоевский.

Теперь то уж совсем не понимаю что со мною будет.

3.

Дрезден, 23 апреля/5 мая 1867 г. [1])

Письмо твое, милый друг мой, передали мне у Базунова очень поздно перед самым отъездом моим заграницу, а так как я спешил ужасно, то и не успел отвечать тебе. Выехал из Петербурга в страстную пятницу (кажется 14-го апреля), ехал до Дрездена довольно долго, с остановками, и потому только теперь улучил время поговорить с тобою.

---

[1]) Письмо это было напечатано, с примечаниями Н. Л. Бродского, в сборнике „Недра“ № 2 — под заглавием „Письмо Достоевского к неизвестной“.

Н. Бродский привел целый ряд соображений, делающих вероятным его предположение, что письмо адресовано Сусловой. По совершенно понятной осторожности, он, однако, от категорического утверждения воздержался, так как ему не был известен тот материал, который находится в нашем распоряжении. Н. Бродский вполне прав; два следующих факта окончательно его подтверждают: 1) в дневнике Анны Григорьевны (изд. Центрархива на стр. 48) рассказывается о том, что Суслова в письме к Достоевскому почему-то называет ее, *А. Г., Брылкиной*; само собой разумеется, что А. Г. неправильно поняла слова Сусловой, на что уже указано было там в примечании к стр. 48. („Дневник“ стр. 273); но уж один этот факт, что Суслова называет, в письме к Д., ту самую фамилию, о которой Д. говорит в письме к Неизвестной, ясно свидетельствует, что неизвестная—это она, Суслова (Кстати, заметим, что комментатор неправильно понял смысл слов Д: „она, Брылкина, сказала мне, что ей было очень грустно, что я счастлив с другой“. Комментатор почему-то думает, что Брылкина разумела в этих словах себя; и потому делает такой вывод, что Достоевский „не скрывал о чувствах Брылкиной к себе“. На самом деле разумела она здесь не себя, а Суслову; ей, Брылки-

Стало-быть, милая, ты ничего не знаешь обо мне, по крайней мере ничего не знала, отправляя письмо свое. Я женился в феврале нынешнего года. По контракту я обязан был Стеловскому доставить к 1 ноября прошедшего года новый роман не менее 10 печатных листов обыкновенной печати, иначе подвергался страшной неустойке. Между тем я писал роман в Русском Вестнике, написал 24 листа и еще оставалось написать 12. А тут эти 10 листов Стеловскому. Было 4-го октября, а я еще не успел начать. Милюков посоветовал мне взять стенографа, чтоб диктовать роман, что ускорило бы вчетверо дело. Ольхин, профессор стенографии, прислал мне лучшую свою ученицу, с которой я и уговорился. С 4-го же октября и начали. Стенографка моя, Анна Григорьевна Сниткина, была молодая и довольно пригожая девушка, 20 лет, хорошего семейства, превосходно кончившая гимназический курс, с чрез-

---

ной, грустно, что Д. счастлив с другой, а не с Сусловой; см. пред. фразу: „она тебя любит").

В письме к А. Сусловой сестры ее, Надежды (см. сб. Достоевский, II, под моей ред. стр. 282), имеется несколько строк о С. Н. Глобиной, очевидно, подруге обеих сестер, — у Достоевского здесь она так и названа: Брылкина *(Глобина)*.

В силу уже одних этих двух фактов мы считаем вполне установленным, что письмо это писано именно Сусловой. И характеристика, которую Достоевский дает ей здесь, вполне согласуется, как с обликом ее, нами обрисованным в нашем очерке, так и со всем характером их взаимных отношений. Тем любопытнее самый тон этого письма, в высшей степени осторожный, определенно рассчитанный на самооправдание. Именно чувством неловкости, может быть стыда,—само собою разумеется, если только не простой забывчивостью,— можно об'яснить то, что он рассказывает ей здесь с такой излишней подробностью факты, которые, конечно, ей должны быть известны, так как она виделась с ним в Висбадене в августе 1865 г., уже после смерти брата и закрытия „Эпохи", видалась с ним в Петербурге в течение 2—3 месяцев пока она не уехала в Тамб. губ. к брату. Впрочем, в одном месте письма Достоевский и пишет: „тебе известно отчасти..." Но он все же заполняет все письмо тем, что ей уже известно, и быть может не совсем интересно, во всяком случае, менее интересно, чем то, чему посвящается всего несколько строк — о женитьбе. Самооправдание, пожалуй, слышится также в тех словах, которые он говорит про Каткова—для Сусловой то, что Д. печатался в „Руск. Вестн.", должно было быть равносильным *измене* прежним и теперешним политическим идеалам. Дважды повторяется Достоевским, что Катков больше платит, а при его теперешнем материальном положении это в известной мере оправдывает его,

вычайно добрым и ясным характером. Работа у нас пошла превосходно. 28 ноября роман Игрок (теперь уже напечатан) был кончен в 24 дня. При конце романа я заметил, что стенографка моя меня искренно любит, хотя никогда не говорила мне об этом ни слова, а мне она все больше и больше нравилась. Так как со смерти брата мне ужасно скучно и тяжело жить, то я предложил ей за меня выйти. Она согласилась, и вот мы обвенчаны. Разница в летах ужасная (20 и 44), но я все более и более убеждаюсь, что она будет счастлива. Сердце у ней есть и любить она умеет. Теперь вообще о моем положении. Тебе известно отчасти, что по смерти моего брата я потерял окончательно мое здоровье, возясь с журналом, но истощившись в борьбе с равнодушием публики и т. д., и т. д. бросил его. Сверх того 3000 (которые получил, продав сочинение Стеловскому), отдал их безвозвратно на чужой журнал, на семейство брата и в уплату его кредиторам. Кончилось тем, что я наколотил на себя нового долгу, по журналу, что с неуплаченными долгами брата, которые я принужден был взять на себя, составило еще свыше 15000 долгу. В таком состоянии были дела, когда я выехал в 65 году за границу, имея при выезде 40 наполеондеров всего капитала. За границей я решил, что отдать эти 15000 смогу только, надеясь на одного себя. Сверх того, со смертью брата, который был для меня все, мне стало очень тошно жить. Я думал еще найти сердце, которое бы отозвалось мне, но не нашел. Тогда я бросился в работу и начал писать роман. Катков заплатил больше всех, я и отдал Каткову. Но 37 листов романа и еще 10 листов Стеловскому оказались мне не по силам, хотя я и кончил обе работы.

Падучая моя усилилась до безобразия, но за то я развлек себя и спас себя сверх того от тюрьмы. Роман мне принес (со вторым изданием) до 14000, на это я жил и сверх того из пятнадцати тысяч долгу отдал 12. Теперь на мне всего-на-все до 3000 долгу. Но эти три тысячи самые злые. Чем больше отдаешь денег, тем нетерпеливее и глупее кредиторы. Заметь себе, если-б я не взял на себя этих долгов, то кредиторы не получили бы ни копейки. И они это знают сами, да и просили они меня перевести эти долги на себя из милости, обещаясь меня не трогать. Отдача 12000 только возбудила корыстолю-

бие тех, которые еще не получили по своим векселям. Денег у меня теперь раньше нового года не будет, да и то если кончу новую работу, за которой сижу. А как я кончу, когда они не дают мне покою; вот почему я и уехал (с женой) за границу. Сверх того за границей жду облегчения падучей, в Петербурге же, последнее время, почти даже стало невозможно работать.

По ночам уж нельзя сидеть, тотчас припадок. И потому хочу здесь поправить здоровье и кончить работу. Денег я взял у Каткова вперед. Там охотно дали. Платят у них превосходно. Я с самого начала об'явил Каткову, что я славянофил и с некоторыми мнениями его не согласен. Это улучшило и весьма облегчило наши отношения. Как частный же человек, это наиблагороднейший человек в свете. Я совершенно не знал его прежде. Необъятное самолюбие его ужасно вредит ему. Но у кого же не необъятное самолюбие?

В последние дни мои в Петербурге я встретился с Брылкиной (Глобиной) и был у нее. Мы много говорили о тебе. Она тебя любит. Она сказала мне, что ей было очень грустно, что я счастлив с другою. Я буду с ней переписываться. Мне она нравится.

Твое письмо оставило во мне грустное впечатление. Ты пишешь, что тебе очень грустно. Я не знаю твоей жизни за последний год и что было в твоем сердце, но судя по всему, что о тебе знаю, тебе трудно быть счастливой.

О, милая, я не к дешевому *необходимому* счастью приглашаю тебя. Я уважаю тебя (и всегда уважал) за твою требовательность, но ведь я знаю, что сердце твое не может не требовать жизни, а сама ты людей считаешь или бесконечно сияющими или тотчас же подлецами и пошляками. Я сужу по фактам. Вывод составь сама.

До свидания, друг вечный! Я боюсь, что письмо это не застанет тебя в Москве. Знай во всяком случае, что до восьмого (8) мая нашего стиля я еще в Дрездене (это minimum, может быть пробуду и далее), а потому, если захочешь отвечать мне, то отвечай тотчас же по получении письма. Allemagne (Saxe) Dresden Dostoiewsky poste restante. Дальнейшие же адресы буду сообщать. Прощай, друг мой, жму и целую твою руку. Твой Ф. Достоевский.

ДВА ПИСЬМА СУСЛОВОЙ К ДОСТОЕВСКОМУ

1.

Черновик письма [1]).

Ты [сердишься] просишь не писать, что я краснею за свою любовь к тебе. Мало того, что не буду писать могу [даже] уверить тебя, что никогда не писала и не думала писать, [ибо] за любовь свою никогда не краснела: она была красива, даже грандиозна. Я могла тебе писать, что краснела за наши прежние отношения. Но в этом не должно быть для тебя нового, ибо я этого никогда не скрывала и сколько раз хотела прервать их до моего отъезда за границу.

[Я соглашаюсь, что говорить об этом бесполезно, но ты уже] [*я не против того, что для тебя они были приличны*].

Что ты никогда не мог этого понять, мне теперь ясно: они для тебя были приличны [как]. Ты вел себя, как человек серьезный, занятой, [который] *по своему понимал свои обязанности* и не забывает и наслаждаться, напротив, даже может быть необходимым считал наслаждаться, [ибо] *на том основании, что* какой-то великий доктор или философ утверждал, что нужно пьяным напиться раз в месяц.

[Ты не должен сердиться, если я иногда]*, что говорить об этом бесполезно, что выражаюсь я легко [я] правда, но* ведь не очень придерживаюсь форм и обрядов.

2.

Версаль, 1864 г. Понедельник [начало июня] [2]).

[1]) Скобки [ ] обозначают зачеркнутое; * . . . . * — написанное над зачеркнутым; написанное над строкой и зачеркнутое обозначаем [* . . . *].

[2]) Письмо не законченное, повидимому, тоже черновик, датируется оно „началом июня“ по первой строке письма.

На-днях получила от тебя письмо *от 2 июня* и спешу отвечать. Вижу, что у тебя ум за разум зашел: писала тебе из Версаля и послала свой адрес, а ты сомневаешься, как мне адресовать письмо: в Париж или в Версаль.

Через две недели ровно поеду в Спа. Сегодня с доктором порешила окончательно. Ты можешь заезжать ко мне в Спа, это очень близко от Ахена, следовательно тебе по дороге. Мне не хотелось с тобой видеться в Спа,—там я верно буду очень хандрить, но иначе нам видеться, пожалуй, не придется долго, так как ты недолго думаешь пробыть в Париже, а я не скоро возвращусь в Россию. Я не знаю, сколько буду в Спа времени, думала ехать на три недели, но теперь оказывается что нужно быть больше или меньше, но с тем, чтобы ехать на другие воды. Если вылечусь, то зиму буду жить в Париже, если нет — поеду в Испанию, в Валенсию или ост. Мадеру.

Что ты за скандальную повесть пишешь?[1]) Мы будем ее читать; Ев. Тур имеет случай получать „Эпоху". А мне не нравится, когда ты пишешь цинические вещи. Это к тебе как-то не идет; нейдет к тебе такому, каким я тебя воображала прежде.

Удивляюсь, откуда тебе характер мой перестал нравиться [ты пишешь это в последнем письме]. Помнится, ты даже панегирики делал моему характеру, такие панегирики, которые заставляли меня краснеть, а иногда сердиться:—я была права. Но это было так давно, что тогда ты не знал моего характера, видел одни хорошие стороны и не подозревал возможности перемены к худшему.

Напрасно ты восхваляешь Спа, там должно быть очень гадко. Я ненавижу эту страну за запах каменного угля. Ты меня утешаешь, что в Брюсселе Висковатовы, но они давным-давно в Петербурге.

Прощай. Мне хочется посмотреть на тебя, каков ты теперь после этого года, и как вы там все думаете. Ты мне писал как-то, убеждая меня возвратиться в Петербург, что там теперь так много хорошего, такой прекрасный поворот в умах и пр.

---

[1]) „Записки из Подполья".

Я вижу совсем другие результаты, или вкусы наши различны. Разумеется, что мое возвращение в Россию независимо от того, хорошо там думают или нет — дело не в этом.

Благодарю за заботливость о моем здоровье, за советы его беречь. Эти советы идут в прок, так что скорее меня можно упрекнуть в излишней заботливости о себе, чем обвинить в причине болезни. Эти обвинения не имеют ни малейшего основания и я могу только их об'яснить твоей вежливостью.

ПРИМЕЧАНИЯ

К стр. 5-й.

В работе моей о Сусловой во втором сборнике „Достоевский" вопрос о значении ее в жизни и творчестве Достоевского разработан более полно; там же приведены письма к Сусловой графини Салиас и Тучковой-Огаревой.

Василий Васильевич Розанов (1856—1919), талантливейший публицист, критик и мыслитель, один из лучших толкователей творчества Достоевского—с точки зрения религиозно-философской. Критика школы символистов (Мережковский, Лев Шестов, Волынский, Вяч. Иванов и их ученики) только углубляет и расширяет те основные положения о Достоевском, которые были высказаны впервые Розановым в его замечательной работе: „Легенда о великом инквизиторе" (Петербург, 1893). Мыслями Достоевского Розанов вдохновлялся всю свою жизнь, по характеру своему, по своему душевному укладу представляя собой удивительную смесь различных черт как положительных, так и отрицательных героев Достоевского. „Навозная жижица, на поверхности которой плавают золотые рыбки" — так сам Розанов однажды определил себя, как писателя, в течение многих лет сотрудничавшего в самой беспринципной и самой нечистоплотной газете „Новое Время", ради высокого гонорара не редко писавшего то, во что сам не верил.

К стр. 6-й.

Дочь Достоевского, Любовь Федоровна (1869—1925) писала романы из жизни великосветского круга. Биографию отца написала в последние годы своей жизни, в эмиграции; это книга, тенденциозно фальшивая,— порою по незнанию, чаще нарочито,— искажающая факты, придавая им совершенно ложное освещение, поскольку это нужно для доказательства той или иной ее предвзятой мысли (см. оценку ее книги в моей работе „Достоевский и Суслова").

К стр. 8-й.

Письмо Достоевского от 19 апреля 1865 г. к Надежде Прокофьевне Сусловой-Эрисман хранится в архиве ее второго мужа, профессора Голубева в настоящее время находящемся в Симферополе; письмо приготовлено к печати проф. Е. В. Петуховым и появится в одной из ближайших книг „Известий Академии Наук".

К стр. 10-й.

Суслова-Эрисман, Надежда Прокофьевна, род. в 1842 г. По сдаче гимназического экзамена поступила вольнослушательницей в Медико-Хирургическую (ныне Военно-Медицинскую) Академию. В 1864 г., по распоряжению военного министра, не допущена к дальнейшему слушанию лекций. В 1865 г. она уже была в Швейцарии, где окончила Цюрихский университет (в 1867 г.), защитив блестяще диссертацию на доктора медицины. Участница (до поездки за границу) петербургских радикальных кружков, она с 1865 г. состояла под надзором полиции. По агентурным сведениям была членом Интернационала и находилась в сношениях с эмигрантами.

Рассказы А. П. Сусловой печатались в журналах Достоевского; первый ее рассказ: „Покуда" — в сентябрьской книге журнала „Время" за 1861 г.; там же рассказ „До свадьбы"— март 1863 г.; рассказ „Своей дорогой" в „Эпохе"— шестая книга за 1864 г. Ее же перу принадлежит перевод с французского „Жизнь Франклина", М. Минье, М 1870 г.

Костомаров, Николай Иванович (1817—1885) — известный русский историк, начавший свою преподавательскую деятельность в Киевском университете в 1846 г.; член Кирилло-Мефодиевского о-ва, распространявшего идеи общеславянского федератативного строя. За участие в этом обществе Костомаров был арестован, просидел год в Петропавловской крепости и выслан в Саратов под надзор местной полиции с воспрещением ему преподавания и печатания его произведений. Лишь в 1856 г. был снят с него надзор и отменено запрещение печататься. В 1859 г. он был приглашен в Петербургский университет, где открыл курс лекций по русской истории, пользовавшихся огромным успехом как у студентов, так и у посторонних слушателей (полный список его многочисленных трудов в „Литературном Наследии" 1891 г.).

Спасович, Владимир Данилович (1829 - 1906) — выдающийся юрист-практик и ученый, критик и историк литературы. С 1856 г. читал в Петербургском университете лекции по уголовному праву, пользовавшиеся большой популярностью, благодаря его блестящему ораторскому дарованию Из работ его по критике и истории литературы замечательны статьи: о Гамлете, о предшественниках Байрона, о байронизме у Пушкина, Лермонтова и Мицкевича, статья о дружбе Шиллера и Гете (см. собр. его сочинений тт. 1—9, Петербург. 1889.), а также очерк истории польской литературы для „Истории славянских литератур" А. Н. Пыпина.

Стасюлевич, Михаил Матвеевич (1826—1911) — известный общественный деятель, публицист и историк, редактор и издатель журнала „Вестник Европы" (со дня его основания в 1866 г. до 1908 г.). В 1859 г. был избран профессором Петербургского университета и читал лекции по истории средних веков. В октябре 1861 г., по поводу происходивших тогда студенческих волнений, вышел в отставку вместе с лучшими профессорами того времени: Кавелиным, Утиным, Пыпиным и Спасовичем.

Шевченко, Тарас Григорьевич — знаменитый украинский поэт (1814—1861) крепостной помещика Киевской губернии. Благодаря поэту Жуков-

скому и живописцу Брюллову выкупился на волю и поступил в Академию Художеств. Член Кирилло-Мефодиевского о-ва, он был арестован в 1847 г. в Киеве; определен рядовым в Оренбургский отд. корпус с запрещением писать и рисовать. Служил в Орской крепости. Амнистию получил в 1857 г. и вскоре появился в Петербурге. На литературных вечерах студенчество встречало его, как и Достоевского, особенно горячо (см., напр., воспоминания Штакеншнейдер „Голос минувшего“ — 1916, книга 2).

Новые убеждения Достоевского сказываются впервые более или менее ясно в „Зимних заметках о летних впечатлениях“, напечатанных в книгах 2—3 „Времени“ за 1863 г., хотя и здесь доминирующим мотивом является критика буржуазной Европы в духе Герцена (об этом см. мою работу. Достоевский и Герцен в 1-м сб. „Достоевский“ под моей ред., изд. „Мысль“, Петроград, 1922). Биограф Достоевского Страхов свидетельствует определенно о его тяготении в эту пору к лагерю прогрессистов, во главе которого стоял тогда „Современник“ Некрасова и Чернышевского (см. биогр. стр 234—240).

К. стр. 14-й.

Сюжет „Униженных и оскорбленных“ очень близко воспроизводит личный сюжет Достоевского, историю его любви к первой жене, Марии Дмитриевне. В первом томе полного собрания писем (выходит под моей редакцией) восстановлены почти полностью письма его к Врангелю за 1856—57 гг.. до сих пор печатавшиеся в крайне изуродованном виде, особенно в тех местах, где развертываются перепетии этой страстной, крайне болезненно им переживавшейся любви. Мария Дмитриевна тоже любила тогда другого, молодого, и Достоевский готов был пожертвовать собою ради ее счастья, заботился о нем, об этом возлюбленном ее, искал для него лучшей службы, чтобы только она не бедствовала.

Диалог Розанова и Сусловой совершенно не соответствует действительности. Может быть, такой диалог и был, может быть Суслова и подавала ему эти реплики, но тогда она сама, сознательно или бессознательно, исказила фактическую правду. Требование развода совершенно не согласуется с ее тогдашним идеалом свободной женщины и свободной любви в духе Жорж Занд; тем более, что Мария Дмитриевна уже весной 1863 г., до поездки Сусловой за границу, была перевезена во Владимир (см., напр., письмо к Тургеневу от 17 июня 1863 г., „Достоевский“ сб. 2-й, под моей ред., стр. 312).

К стр. 16-й.

Журнал „Время“ был закрыт за статью Страхова: „Роковой вопрос“, напечатанную в апрельской книге за 1863 г. по поводу польского восстания, начавшегося 10 января 1863 г. и продолжавшегося почти полтора года. Статья Страхова, отнюдь не полонофильская, ее главная мысль, что русская культура, народная, „почвенная“, резко отличается от польской культуры, культуры высших слоев и чуждой народным массам, была воспринята, как выражение сочувствия полякам, благодаря скверному истолкованию

смысла статьи Петерсоном, известным реакционным публицистом „Московских Ведомостей“, а также благодаря кампании, поднятой „Русским Вестником“ Каткова и газетой „День“ Аксакова против поляков и нашей эмиграции, возглавлявшейся Герценом с его „Колоколом“, а также против петербургской радикальной прессы, к которой, в известной степени, причислялось и „Время“.

К стр. 20-й.

„Секту бегунов“ Суслова воспринимала, по всей вероятности, не со стороны ее религиозной, а со стороны общественно-демократической, так, как раз'яснял сектанство историк Щапов во „Времени“ (см. „Время“ октябрь и ноябрь 1862 г., статья: „Земство и раскол“).

Рассказ „Чужая и свой“, с вполне уже установленным сюжетом, в композиционном и стилистическом отношении должен был еще претерпеть целый ряд изменений, и по всей вероятности были бы введены в него новые мотивы и эпизоды, соответственно его заглавию, которое пока совершенно не оправдывается его содержанием.

К стр. 23-й.

„Игрок“ был задуман еще в Италии во время путешествия с Сусловой, о чем свидетельствует письмо Достоевского к Страхову от 30 сентября 1863 г. (см. Страхов, 259—263). Из писем Достоевского к брату (см. там же, стр. 141—158, отд. писем) в начале 1864 г. видно, что „Записки из подполья“ очень скоро вытесняют замысел „Игрока“, осуществление которого отсрочивается на целых три года: „Игрок“ писался летом и осенью 1866 г.

К стр. 28-й.

Знакомство Достоевского с Герценом состоялось 5 октября 1846 г. в Петербурге в квартире И. И. Панаева (см. письмо Герцена к жене, Герцен, собр. сочин., ред. Лемке, том IV, стр. 423). В первых числах июля 1862 г. Достоевский провел с неделю в Лондоне, встречаясь все время с Герценом; тогда-то они, повидимому, и сошлись довольно близко. См. письмо Герцена к Огареву от 17 июля 1862 г.: „Вчера был Достоевский. Он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек. Верит с энтузиазмом в русский народ“ („Герцен“, том XV, стр. 334). 1862 год, как-раз и является годом наибольшего влияния Герцена на Достоевского в области общественно-идеологической (см. мою работу Достоевский и Герцен — „Достоевский“, под моей ред., том I).

К стр. 32-й.

Салиас де-Турнемир, Елизавета Васильевна, рожденная Сухово-Кобылина (1815—1892), известная под псевдонимом Евгении Тур. Среди ее близких друзей — Грановский, Тургенев; известный исторический романист гр. Салиас — ее родной сын, а автор „Свадьбы Кречинского“ Сухово-Кобылин — родной брат ее. В 1849 г. она выступила в „Современнике“ Некрасова с повестью „Ошибка“, имевшей огромный успех, как и роман ее „Племянница“, напечатанный в следующем году в том же „Современнике“.

Тургенев посвятил разбору романа большую статью: отозвались о нем в очень теплых тонах популярные критики того времени: Аполлон Григорьев и Дружинин. Однако, дальнейшие ее произведения („Долг“, „На рубеже“ и др.) уже не имели такого большого успеха; по мере приближения в середине 60-х годов популярность ее все более и более падает. В 1861 году Салиас основывает собственный журнал „Русскую Речь“, просуществовавший всего один год; здесь она пишет прекрасные критические статьи о целом ряде писателей, между прочим и о Достоевском, отзываясь о нем, уже тогда, еще до „Мертвого дома“, как о великом писателе. Из произведений последних лет ее жизни особенно нужно отметить повести для юношества („Последний день Помпеи“, „Катакомбы“ и др.).

Марко-Вовчок, псевдоним писательницы Марии Александровны Маркович (1834—1907). Первые ее вещи вышли на украинском языке („Народнии оповедания Марко-Вовчка“, 1857 г.). Рассказы имели очень большой успех, тем более, что они переведены были на русский язык Тургеневым. Ее следующие „Рассказы из народного русского быта“ вышли уже по-русски и встретили восторженный отзыв Добролюбова. В статье Достоевского „Г. Б-ов и вопрос об искусстве“ („Время“, февраль 1861 г.) ведется горячая полемика с Добролюбовым по поводу этого отзыва. В начале 60-х годов Марко-Вовчок уехала вместе со своим сыном в Париж, откуда в середине 60-х годов вернулась в Петербург. Здесь она переходит от жанра народных рассказов к роману и повести из жизни интеллигенции („Живая Душа“ Отеч. Зап. 1868 г., „Теплое гнездышко“ 1873 г., „В глуши“ 1875 г.), и тогда сразу обнаруживаются скромные размеры ее таланта. Новое произведение было новым ее падением.

К стр. 36-й.

Тон переписки Герцена и Огарева с Салиас обычно дружеский. Они не только старые знакомые еще с 40-х годов по Москве, но Салиас разделяет и многие взгляды Герцена. Так в письме Огарева от 31 декабря 1863 г. Герцен делает приписку: „Вы видите, что les vieux de la vieille garde (ветераны старой гвардии) не совсем утратили дух. Полагаю, что во 2 листе Вы будете довольны, если не письмом к Гарибальди, то „Портретом Муравьева“, „$^3/_{70}$“ и „Календарем за 1863 год“ (см. Герцен, том XVII, стр. 16) Из этого же письма видно, что Огарев поручает Салиас сбор денег для Чернышевского, Серно-Соловьевича и других революционеров, находившихся тогда в Петропавловской крепости и в ссылке, а Герцен с своей стороны добавляет: „Да, действительно, надо помочь жертвам нашего „краткодушника“ „(очевидно, Александр II). См. также письмо Герцена к Салиас от 26 мая 1864 г., где он спрашивает ее: „Довольны ли Вы моим письмом и к будущему другу?“ и дальше пишет: „Ив[ан] Тург[енев], я полагаю, недоволен“ (Герцен, том XVII, стр. 175. В том же томе еще письма к ней — стр. 400, 401, 406, 468).

По поводу болезни и смерти детей и помощи, которую Салиас оказывала Огаревой, Герцен пишет несколько раз Огареву (см. том XVII, стр. 420—422).

Письма Тучковой-Огаревой к Сусловой приведены нами во 2 сбор. „Достоевский“ (стр. 278—281). О том, что Суслова ехала в Монпелье на попечение Огаревой, имеются указания в письме Герцена от 22 февраля 1865 г. к Огаревой же: „Насчет Сусловой ты можешь всегда сговориться с отелем в небольшой прибавке, или в особом блюде“ (Герцен, том XVIII, стр. 39). Там же (стр. 147) имеется письмо Герцена к старшей дочери от 17 июня 1865 г., где он пишет, что была у них в Женеве „нигилистка из Цюриха Суслова с сестрой, доктором медицины; эта девушка очень умная; жаль, что ты ее не увидишь“.

В Висбаден Достоевский уехал от своих кредиторов, а главное для того, чтобы там писать, вдали от Петербургской повседневной сутолоки, „Преступление и наказание“. О крайне тяжелом материальном его положении свидетельствуют письма его к Сусловой, здесь же ниже приведенные, а также письма к Врангелю за сентябрь 1865 г. (см. Страхов,—отдел писем, стр. 160—165).

К стр. 39-й.

Комарова, Александра Андреевна (род. в 1842 г.), привлекалась в 1866 г. по делу Каракозова, стрелявшего в Александра II (4 апреля 1866 г.), и дала „откровенные показания“. Тогда-то она, повидимому, и назвала Сусловых, может быть, как первых своих „просветителей“. Комарова позднее участвовала в реакционной прессе. См. авто-биографический ее роман, где она рассказывает о своих былых политических увлечениях: „Одна из многих“ (Петербург, 1880 г.).

„Свобода“ выпускалась Центр. Комитетом „Земли и Воли“; номер 1-й вышел в феврале 1863 г., а номер 2-й в июле того же года, очевидно, Комарова номера перепутала, не 2-й номер „Свободы“, а 1-й, так как в июле Суслова была уже за границей.

„Великорусс“ продолжал выходить и после провала о-ва „Великорусс“ в октябре 1861 г. Так, номер 2-й „Великорусса“ рассылался по Москве в апреле 1863 г. (см. Герцен, том XVI, стр. 69—102).

К стр. 40-й.

Ланской 2-й, Петр Петрович, генерал-ад'ютант (женат на вдове Пушкина; умер в 1877 г.), был председателем Следственной Комиссии по делу нигилистах“ и очень усердно с ними боролся, особенно во 2-й половине -х годов.

Толстой, Дмитрий Андреевич (1823—1889). С 1865 года обер-прокурор Святейшего синода, а с 1866 года министр народного просвещения; оба эти поста занимал до 1880 г.; с 1882 г.; до самой смерти — министр внутр. дел и шеф жандармов. Поборник „сильной власти“, Толстой провел целый ряд мер, направленных к возвышению дворянства и к регламентации крестьянского быта; им же было подготовлено положение о земских начальниках и значительно ограничена свобода печати знаменитыми „Временными правилами 1882 г.“. В качестве министра просвещения он провел реформу среднего образования, заключавшуюся в значительном усилении преподава-

ния древних языков, причем только воспитанникам классических гимназий было предоставлено право поступать в университет.

Шувалов, Петр Андреевич (1827—1889), принадлежал к строго-консервативной партии, относился крайне несочувственно к реформам 60-х годов. Был вначале петербургским оберполицеймейстером, затем директором Департамента общих дел министерства внутренних дел, управляющим III отделением, а с 1866 г. по 1874 г. — шефом жандармов.

„Воскресные школы“ для рабочих, ремесленников и нижних воинских чинов стали открываться в Петербурге и других университетских и провинциальных городах в конце 50-х годов. Правительство вначале относилось к ним довольно благосклонно. Но уже в конце 1860 г. шефом жандармов была представлена секретная записка, где школы были названы „бессознательным увлечением праздных и бродящих умов“ и рекомендовалось „обратить все народные школы в учреждения государственные и неощутительно привлечь к участию лишь высшее сословие, благонадежность коих не подлежит сомнению“. 8 января 1861 г. было уже издано высочайшее повеление о надзоре за вечерними школами и о назначении в них священников. В 1862 г., во время петербургских пожаров, гонение на школы усилилось; их обвиняли „в потрясении религиозных верований, возмущении против правительства и распространении социалистических понятий“; 13 июля того же года школы были закрыты.

Герье, Владимир Иванович, (1837—1919)—известный историк. С 1865 г. доцент по общей истории Московского университета. В самом начале 80-х годов им были основаны Высшие женские курсы, во главе которых стоял в течение 16 лет, пока они не были закрыты; при восстановлении курсов был назначен директором, которым состоял до 1905 года.

Щепкина, Екатерина Николаевна, — магистр истории и профессор б. Бесстужевских курсов, существовавших в Петербурге до самой октябрьской революции.

К стр. 47-й.

„Выводи на дорогу“ — из весьма популярного в начале 60-х гг. покаянного стихотворения Некрасова: „Рыцарь на час“, написанного в 1860 г. Особенно популярны были следующие 8 стихов:

„Выводи на дорогу тернистую!
Разучился ходить я по ней.
Погрузился я в тину нечистую
Мелких помыслов, мелких страстей.

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!“

К стр. 49-й.

Четверостишие из стихотворения Огарева приведено здесь не совсем правильно. У Огарева оно так:

„Чего хочу?.. Чего?.. О так желаний много,
Так к выходу их силе нужен путь,
Что кажется порой — их внутренней тревогой
Сожжется мозг и разорвется грудь“.

К стр. 52-й.

В словах Достоевского:—„Ты ждала до 23 лет“ — косвенное указание, что начало их близости нужно отнести к 1862 г. — Суслова родилась в 1839 г.

Роман Достоевского, о котором здесь упоминается, вряд ли это „Преступление и наказание“ даже в первоначальном его замысле под названием „Пьяненькие“ (см. письмо к Краевскому от 8 июня 1865 г. — Русская старина 1913 г., книга 3-я). Здесь разумеется, по всей вероятности, один из многочисленных неосуществленных сюжетов, которыми всегда было так полно его художественное воображение.

Приведенное здесь письмо к Сальвадору в высшей степени характерно для душевного склада Сусловой, вполне согласуясь с тем сложным ее образом, который рисует и Достоевский и Розанов. Здесь весь ее нравственный максимализм, ее суровые требования к людям, которым она не прощает ни одной их слабости.

К стр. 58-й.

То, что Достоевский, визируя билеты для поездки в Италию, побранился в Папском посольстве, находит свое художественное отражение в рассказе Алексея Ивановича в „Игроке“ о той сцене, которую он устроил „аббатику лет пятидесяти с морозом в физиономии“, когда тот не хотел его пропустить „на верх к монсеньору, чтобы визировать паспорт“ (см. сочин. Достоевского, изд. „Просвещение“, т. V, стр. 218—219).

К стр. 60-й.

„Федор Михайлович проигрался“ — подтверждение этому находим в письме его к В. Д. Констант от 8 сентября 1863 г. (см. „Сев. Вестник“ 1891 г., книга 10-я); он просит ее переслать ему обратно за границу деньги, выигранные им по пути в Париж, которые он послал ей всего несколько дней назад для Марии Дмитриевны, находившейся тогда во Владимире.

К стр. 61-й.

Petit Napoleon — не совсем точное название памфлета Виктора Гюго Napoleon le Petit, направленного против Наполеона III, в связи с декабрьским переворотом во Франции в 1851 г., когда Наполеон III захватил верховную власть. В противодействии этому перевороту Гюго принимал самое деятельное участие и лично сражался на баррикадах. Восемнадцать лет прожил он после этого в изгнании. Napoleon le Petit, написанный в 1852 г. был первым отголоском так неудачно для него кончившейся политической борьбы.

К стр. 62-й.

„Причина, которая внушает мне омерзение — это полуостров“,— разумеется Испания, родина Сальвадора.

К стр. 65-й.

Молодой Герцен, Александр Александрович (1839—1906),— известный физиолог, ученик Карла Фогта. С 1877 г. он был профессором физиологии во Флоренции, с 1881 г. — в Лозанне. В это время (в 1863 г.) он уже был законченным ученым и производил свои известные исследования о задерживающих центрах мозга; через несколько месяцев вышел уже его первый труд „Les centres, moderateurs de l'actcion reflex." (Турин 1864 г.); на русском языке имеется его „Общая физиология души" (Петербург, 1890 г.).

К стр. 68-й.

„Путевые записи были, очевидно, только задуманы; последующие записи Дневника идут непосредственно за этим отрывком, и нигде в ее бумагах мы не нашли следов продолжения „записок".

К стр. 70-й.

Д. Стюарт Милль, знаменитый английский мыслитель и экономист (1806 — 1873). Его „Политическая экономия" пользовалась у нас в 60-х годах особенной популярностью, благодаря, главным образом, обширным примечаниям Чернышевского, сделанным к первой книге русского перевода. Не меньшее влияние оказывала на умонастроение нашей радикальной молодежи того времени его „Система логики", ставящая своей целью доказать, что в основе всякой дедукции имеется индукция, так как единственным источником человеческого познания является только опыт, об'ективная реальность, факты. Лучшие умы 60-х годов на логике Милля и позитивной философии Конта строили свое миросозерцание.

Алхазов Петр, студент Петербургского университета, был арестован за участие в студенческих волнениях и 12 октября 1861 г. заключен в Петропавловскую крепость, откуда через несколько дней переведен в Кронштадт. В декабре того же года освобожден, но остается под надзором полиции. Как он попал в Париж, тайно ли эмигрировал, или уехал с разрешения властей,— нам неизвестно.

К стр. 71-й.

Уильям — по всей вероятности, один из близких знакомых Герцена по Лондону. В письме Герцена к дочерям (от 17 августа 1863 г., см. „Герцен", том XVI, стр. 464). Уильям упоминается в таком контексте: „Вся банда: Стансфильд, Ашерст, Уильям... в Италии". Стансфильд—лорд Адмиралтейства в либеральном министерстве Пальмерстона, друг итальянских революционеров Маццини и Гарибальди; Ашерст — адвокат того же кружка Маццини.

К стр. 72-й.

Молодой медик, впервые здесь упоминаемый, которому, как видно из дальнейших записей Дневника, суждено было играть известную роль в жизни Сусловой, встречается дальше несколько раз и под фамилией Бенни. Есть основания думать, что это брат Артура-Вилиама Ивановича Бенни, довольно известного в петербургских революционных кружках первой половины 60-х годов. За исключением подданства, быть-может, указанного здесь

неправильно, по ошибке Сусловой или по каким-нибудь мотивам самим лейб-медиком (не голландское, а великобританское) все другие данные говорят в пользу нашего предположения. Сыновья англичанки и пастора местечка Томашева (Варшавской губернии) они действительно получили воспитание в России (в Петроковской гимназии), выехали же они в Англию и приняли подданство лишь в 1857 году. В Лондоне в 1858 г. Артур Бенни познакомился с Герценом и стал его единомышленником; в 1861 г. возвратился в Россию, намереваясь отправиться для революционной пропаганды в Сибирь, но остался в Петербурге, где сотрудничал в журналах и газетах, между прочим, и в „Эпохе" Достоевского, с которым состоял одно время в переписке. В 1862 году за А. Бенни был учрежден тайный надзор, и через некоторое время он был вызван в III отделение для дачи об'яснений по делу о сношениях с лондонскими пропагандистами. В ноябре того же года Бенни подавал прошение, оставшееся неудовлетворенным, о принятии его в русское подданство; в 1864 г. предан суду Сената и приговорен к высылке за границу за недонесение о прибытии в Петербург эмигранта Вас. Ив. Кельсиева. Высланный за границу, он поселился в Швейцарии; в качестве корреспондента английской газеты, участвовал в походе Гарибальди, был ранен в битве при Ментоне и умер 27 декабря 1867 г. В романе Лескова „Загадочный человек" Артур Бенни выведен в качестве одного из главных героев, которого незаслуженно обвиняют в шпионстве. Среди петербургской революционной молодежи такое подозрение действительно было в связи с назревшей переменой его политических взглядов и некоторым его поправением. Быть-может, на это подозрение и намекал Утин, когда говорил, что знал брата этого молодого медика еще по Петербургу, как нехорошего человека (см. дальше запись от 19 октября).

Задлер — какой именно Задлер здесь упоминается, за отсутсвием имени и отчества, определить трудно. Возможно однако, что это один из сыновей петербургского доктора Задлера, зять которого, типографщик Николай Тиблен числившийся в списке III отделения, как заподозренный в печатании и распространении возмутительных воззваний. Задлер А гин Карлович — впоследствии преподаватель консерватории, автор нескольких романсов и фантазий на русские народные песни (1842 — 1885) — за исключением разве возраста,—вовсе не подходит к этой кампании эмигрантов.

Пальмерстон, знаменитый английский государственный деятель (1784—1865), принадлежавший к партии либералов. В 40-х годах покровительствовал революциям в Италии и Венгрии, устраивал торжественные встречи венгерскому революционеру Кошуту. С 1855 года — премьер и остается им почти до конца своей жизни; ни одно министерство в Англии не пользовалось такой популярностью, как Пальмерстона, в особенности в первые годы после победы Англии над крепостной Россией, война с которой была в значительной степени делом его рук.

К стр. 74-й.

Тьер (1797 — 1877), знаменитый французский историк и политический деятель, автор крупнейших работ по истории французской революции и

наполеоновской империи. Несмотря на крайнюю неустойчивость его политических взглядов, часто менявшихся в зависимости от той или иной формы правления и от роли, которую он хотел играть и играл в данный исторический момент. В начале 60-х годов оппозиция правительству Наполеона III связала свои судьбы с этим изменчивым политиком и это снова сделало его весьма популярным даже в кругах более или менее радикальных. Приблизительно в то же время и вышел последний двадцатый том его „Истории консульства и империи“, о котором, повидимому, здесь и идет речь.

„Лучшие умы Европы думают так“— разумеется прежде всего, конечно, Герцен, „Концы и начала“ которого, печатавшиеся в различных номерах „Колокола“, только что вышли отдельной книгой (1863 г.). Тема одряхления Европы варьируется во всех восьми письмах, составляющих это замечательное произведение. В „Зимних заметках о летних впечатлениях“ Достоевского, напечатанных в февральской книге „Времени“ за 1863 г., эта тема также звучит особенно сильно.

К стр. 75-й.

Грузин, впервые здесь упоминаемый, известный публицист, доктор прав Цюрихского университета и революционер, Николай Яковлевич Николадзе (род. в 1843 г.); в 1861 г. был студентом Петербургского университета, принимал участие в студенческих волнениях, сидел в Петропавловской крепости, откуда переведен в Кронштадт, в декабре 1861 г. освобожден под гласный надзор полиции. Корреспондировал в „Колоколе“ Герцена. В 1866 г. напечатал в Женеве брошюру: „Правительство и молодое поколение“ по поводу покушения Каракозова. В 1868 г. издавал журнал „Подпольное слово“ и „Современность“. Позднее в России был редактором либеральной газеты „Обзор“ (Тифлис, 1878—80 г.), за антиправительственное направление газеты сослан в Ставрополь. В 1882 г. был посредником в переговорах „Священной Дружины“ с народовольцами, за что опять подвергся строжайшему полицейскому надзору, снятому лишь в 1894 г.

„Новость о Чернышевском“ — по всей вероятности в связи с его судебным процессом. Может быть Сусловой сообщили о состоявшемся 2 декабря 1863 г. определении Сената, по которому Чернышевский лишается всех прав состояния и приговаривается к 14 годам каторжных работ на рудниках. При утверждении приговора 7 апреля 1864 г., срок каторжных работ был сокращен до семи лет.

К стр. 79-й.

Philaret Chasles, скорее всего не Charles, а Chasles (1799—1873 г.), довольно известный критик, начавший писать еще в эпоху романтизма в 1822 г.

К стр. 80-й.

Ментенон — маркиза Франсуаза д'Обинье, вторая жена Людовика XIV (1635—1719), пользовалась большим влиянием на короля. В ее присутствии он принимал министров и часто спрашивал ее советов.

К стр. 81-й.

„Письма из Франции" — сочинение Герцена: „Письма из Франции и Италии", печатавшиеся в 10-й и 11-й книгах „Современика" за 1847 год; изданы отдельно в 1854 г. и повторены в 1858 г.

К стр. 82-й.

Салиас Евгений Андреевич (1840—1908), сын графини Салиас, известный писатель, автор популярного в свое время исторического романа „Пугачевьцы". Принимал деятельное участие в московских студенческих беспорядках, за что был уволен из университета. В Дневнике Сусловой он все время фигурирует под именем Вадим (псевдоним его под повестью „Ксаня Чудная"). Герцен и Огарев состояли с ним в переписке и, судя по упоминаниям о нем в письмах Герцена к Огареву, Салиас, повидимому, принимал в эти годы (1863—1864) довольно деятельное участие в политическом движении среди эмиграции (см. Герцен, том XVI, стр. 68, том XVII, стр. 393). Приведем кстати отзыв Герцена об одной из повестей его в письме к его матери, Е. В. Салиас: „Я беру из рук Огарева перо только для того, чтобы прибавить от себя, что „Тьма" чудесная вещь, и если в ней есть недостатки то это — недостатки молодости. Если это писал Ваш сын — как мы выдумали сами,— то я поздравляю обеих матерей его, т.-е. Вас и Россию, с новым талантом" (Герцен, том XVII, стр. 46).

К стр. 83-й.

Лугинин Владимир Федорович (1834—1911 г.) известный революционер, член „Великорусса", находившийся в близких отношениях с Герценом: Герцен постоянно упоминает о нем в своих письмах к Огареву и к сыну, как о единомышленнике (см. Герцен, том XIII, стр. 149, 215, 243, 289, 355, 358 и т. д.) О. Лугинине отзывается очень хорошо и Тургенев: „Лугинин мне понравился так, как давно молодой человек мне не нравился: это благородное и дельное существо". (см. „Письма", изданные Драгомановым, стр. 160—162). Лугинин кончил курс Артиллерийской академии и до от'езда за границу служил в Артиллерийском ученом комитете. За границу он выехал в 1862 г. по всей вероятности, осенью (отзыв о нем Тургенева в письме к Герцену от 18 октября). Там он вращался в кругу революционной эмиграции: вначале в Париже, потом в Женеве; в столкновениях Герцена с компанией Серно-Соловьевича и Шелгуновой Лугинин держался Герценовской ориентации. В мае 1865 года начались хлопоты отца Лугинина о разрешении ему вернуться на родину; через два года он лично обратился с просьбой к государю, бывшему в 1867 году в Париже; в августе того же года Лугинин вернулся в Россию; окончательно амнистирован в 1869 г. В 1877 г. переехал в Петербург, где работал по термохимии в лаборатории профессора Усова. В 1890 г. получил honoris causa степень доктора химии Московского университета.

„Тургенев разорвал все связи с друзьями своей юности" — разумеется письмо Тургенева к Александру II по поводу того, что III отделение в начале 63 г. требовало его в Россию; Тургенев просил государя велеть

высылать ему допросные пункты, на которые он мог бы отвечать заочно. Сенат выслал ему допросные пункты, среди них были пункты, специально касавшиеся его отношения к Герцену. Тургенев, между прочим, отвечал так: „Оставляя родину в конце 1846 г., он (Герцен) уже находился в разладе со всей умеренной династически-либеральной партией, из которой я, например, могу назвать покойного Грановского... В России до 1846 г. я виделся с Герценом весьма редко; я только что начинал свое литературное поприще, и вопросы чисто политические занимали меня мало. Я встретился с ним в Париже, в самый разгар 1848 г. Зрелище, представляемое тогда Европой, сильно потрясло меня, но и тут я оставался только зрителем поднявшейся бури, да и сам Герцен находился тогда как бы в бездействии: о пропаганде, о влиянии на русскую публику не было и речи; нужно было сперва понять куда шла, чего хотела история. Насколько он угадал или, говоря правильнее, как мало это ему удалось, можно видеть в его сочинениях... Тогда в 1856 г. я снова приехал за границу, в Лондоне уже второй год издавался „Колокол", но Герцен все еще не вступал безвозвратно на дорогу, которая окончательно привела его к одиночеству, в котором он теперь находится, к полному раз'единению со всеми его бывшими друзьями... Я увидел его в Лондоне, и хотя я уже тогда чувствовал, какая глубокая черта меня от него отделяла, однако я не признавал ни необходимым, ни даже полезным прекратить с ним сношения, несмотря на то, что эти сношения часто выражались в одних спорах... Но время шло, и все стало изменяться. Теряя более и более понимание действительных нужд и потребностей России, которой он, впрочем, никогда хорошо не знал... враждуя с правительством даже в таком святом деле — каково было освобождение крестьян, подчинившись, наконец, тем самым учениям, от которых здравый смысл отводил его некогда, — Герцен перестал отрицать и начал проповедывать преувеличенно шумно...... Реже и реже видаясь с ним, в течение последних семи лет (с осени 1860 г. до нынешнего времени я провел с ним всего три дня, в мае месяце прошлого года), я с каждой встречей становился ему все более чуждым. И не один я, но прежние его товарищи один за одним от него отвернулись... Герцен, сделавшись республикантом и социалистом, Герцен, подпавший под влияние Огарева, не имел уже решительно ничего общего ни с одним здравомыслящим русским, не разделяющим народа от царя, честной любви к разумной свободе от убеждения в необходимости монархического начала. В мае месяце прошлого года я видел Герцена в последний раз (он тогда уже прочел „Отцы и дети"), и наши личные сношения прекратились. Глубоко раздражаемый чувством своего одиночества, ослаблением своего значения, всеобщим осуждением бывших друзей, Герцен утратил почти всю свою силу, самый блеск своего бесспорно замечательного таланта".

Не подлежит сомнению, что этот нехороший ответ Тургенева был продиктован не столько чувством уважения к царю, сколько безграничной его трусостью, как той же трусостью об'ясняются, пожалуй, и следующие некрасивые факты, на которые реагировали и Герцен и другие члены заграничных колоний, в частности та же графиня Салиас. Разумеем подписку

его на раненых русских во время польского восстания: Герцен справедливо назвал этот факт поступком циническим, в виду уже ясно обозначившегося периода Каткова и Муравьева; сюда также нужно отнести письмо Тургенева в редакцию газеты Аксакова „День“ (№ 29 от 20 июля 1863 года) по поводу польского вопроса: „Я вполне разделяю Ваше воззрение на польский вопрос“. Тургенев писал это тогда, когда Аксаков не отставал — ни по тону, ни по содержанию от Каткова в своих клеветнических нападках на эмиграцию в целом, в особенности же — на Герцена.

К стр. 84-й.

Якоби, Валерий Иванович (1834—1902), жанровый и портретный живописец, в первую половину 60-х годов особенно популярный, благодаря картине: „Привал арестантов“, будившей своим сюжетом чувство любви и жалости к униженным. В этом же году Якоби отправился за границу и жил долгое время в Париже. В 1869 году вернулся в Петербург. За картину „Варфоломеевская ночь“ получил звание академика, за „Арест герцога Бирона“— звание профессора Академии.

К стр. 86-й.

Первая повесть Сусловой—„Покуда“,—напечатана в 5-й книге журнала Достоевского „Время“, за 1861 год. Здесь есть все характернейшие мотивы тогдашней гражданственности: герой повести „мысленно приподнимает жалкое рубище города, заглядывает во все углы, и воображению его представляется столько трагических раздирающих душу картин, и в ушах гремят проклятья, и слышатся подавленные стоны“.

К стр. 87-й.

Усов—точно определить какой именно, за отсутствием имени и отчества, нам не удалось. Скорее всего это Петр Степанович (1832—1897),—инженер путей сообщения, автор „Курса строительного искусства“ (1860 г.); умеренный конституционалист. В переписке Герцена с детьми и Огаревым за 1865 г. и далее Усов (тоже без имени и отчества) упоминается обыкновенно рядом с Лугининым, политические взгляды которого к этому времени становятся все более и более умеренными; у Усова Огарев брал уроки математики (см. Герцен, том XVII, стр. 333, 390, и том XVIII, стр. 5, 6, 39, 59, 60—62, 71).

К стр. 88-й.

Как видно из второго письма Сусловой к Достоевскому (см. ниже) запись от 15 июня сделана вскоре по приезде в Спа.

Письмо к Салиас так и обрывается на этих первых двух строках.

К стр. 89-й.

Свифт Джонатан, (1667—1745) знаменитый английский юморист. Его первые злые сатиры на английское духовенство действительно сыграли в его карьере роковую роль: король рассердился на него за эти сатиры и не дал ему сана архиепископа. Из сатир Свифта особенно известны:

„Письма суконщика“ (1742) и „Путешествие Гулливера“ (1727) — пародия, на человечество, по мере приближения путешествия к концу все более усиливающаяся: в третьем путешествии описывается страна, где господствующим классом является благородная, умная и честная порода лошадей, в роли же низших животных исполняющих тяжелую и трудную работу, выведены двуногие существа Иху, представляющие собою выродившееся человечество, Недостатки этих двуногих доведены до ужасающих размеров.

Помяловский, Николай Герасимович (1837—1863),—писатель-разночинец в 60-х годах пользовавшийся особенной популярностью. Здесь, повидимому, разумеется, его повесть „Молотов“, где герои, после долгих скитаний по России в поисках общественного идеала, успокаивается на скромной роли чиновника, достигшего материального благополучия; последние слова его исповеди перед невестой: „Неужели запрещено устроить простое мещанское счастье? Миллионы живут с единственным призванием — честно наслаждаться жизнью... И прежде всего будем жить для себя... Устрою себе жизнь как хочу, и никто не посмеет от меня потребовать отчета, зачем я живу на свете“.

К стр. 90 й.

Пек (арский?), по всей вероятности, какой-нибудь польский эмигрант; Петр Петрович Пекарский, историк литературы и академик, находился в это время в России, а Пекарский Эдуард Карлович, революционер, был тогда еще мальчиком.

Стоянов, может быть, какой-нибудь болгарский эмигрант.

К стр. 99-й.

Утин, Евгений Исаакович (1843—1894), революционер, брат Николая Утина, одного из главных руководителей и члена центрального комитета „Земли и Воли“, эмигрировали они в конце июля или в начале августа 1863 г. (см. об этом Герцен, том XVI, стр. 436; также — письмо Утина в „Колоколе“, от 10 августа 1863 г. к комитету „Земли и воли“). Об Евгении Утине Герцен несколько раз упоминает: в письме к Салиас от 28 ноября 1864 г. (том XVII, стр. 402), в письмах к Огареву 1865 г. (Герцен, том XVIII, стр. 58—71). Что в Дневнике, речь идет об Евгение, а не о Николае, Утине, видно из письма Салиас к Сусловой от 16 мая 1865 г. (см. Достоевский, сборник 2-й, под моей редакцией, стр. 247).

К стр. 100-й.

„Лукреция Флориани“, один из романов Жорж Занд, воспроизводящий историю ее отношения к Шопену. Еще поколение 40-х годов, в частности Белинский, воспринимали этот роман, как откровение новой истины, как указание челевечеству на новые пути к разрешению вопросов семьи и брака.

К стр. 102-й.

Печерин и Грушницкий — главные персонажи романа Лермонтова „Герой нашего времени“. Для шестидесятников такое восприятие образа развенченного Печорина весьма характерно.

К стр. 103-й.

Тэн Ипполит, выдающийся французский мыслитель, психолог и историк литературы (1828 — 1893). Здесь, по всей вероятности, разумеется его „История английской литературы“, вышедшая в том же 1864 г.

К стр. 104-й.

Бак. [унин?], Михаил Алексадрович, революционер-анархист (1814—1876), знакомый Салиас, быть-может, еще по Москве, как-раз в это время находился в Париже; см. письмо Герцена к Огаревой от 15 ноября 1864 г., где он ей сообщает, что Бакунин в Париже и дает точный его адрес

К стр. 106-й.

Повесть Вадима, по всей вероятности, та же „Тьма“, напечатанная в 12 книге „Современника“ в 1863 г. и удостоившаяся такого лестного отзыва со стороны Герцена (см. примечание к стр. 82).

К стр. 109-й.

„Чтобы Герцен провожал Огарева“ — как видно из переписки Герцена с Огаревым и детьми, Огарев приехал из Лондона в Париж числа 8—9 декабря к похоронам сына Огаревой (от Герцена) Алексея и пробыл в Париже числа до 20 декабря. Герцен уехал к Огаревой в Монпелье 15 декабря (см. Герцен, том XVII, стр. 421—429).

К стр. 110-й.

Андре Шенье (род. в 1762 г., умер на эшафоте в 1774 г.), знаменитый французский поэт на рубеже двух эпох: классицизма и романтизма, по фактуре своего стиха, по господствующим у него образам и по миросозерцанию гораздо более близкий первой эпохе. Людям 60-х годов Шенье, рационалист, общественный деятель, был несравненно ближе и понятнее, чем скептический романтик, меланхолик, всегда чувствующий свою душевную раздвоенность.

Альфред де-Мюссе, тоже знаменитый французский поэт (1810—1857).

„Ответила следующим письмом“— письмо здесь не приведено.

К стр. 112-й.

Запись от 21 января 1861 г. так и обрывается на полуфразе.

К стр. 117-й.

„Прибрать к рукам „Эпоху Достоевского“ — слова Утина свидетельствуют о том, что молодое поколение уже ясно чувствовало, насколько „Эпоха“, стала резко расходиться с радикальными идеями того времени; Суслову же Утин, повивимому, считал своей единомышленницей.

Ифигения — героиня греческих трагедий; она должна была быть принесена в жертву ради спасения греческого флота, отправившегося под Трою.

К стр 118-й.

Го, Gaut или Gauet, по всей вероятности, одно и то же лицо. Вполне возможно, что это Gaut, Жан-Баптист-Морис, французский поэт и лите-

ратор, один из поборников „Провансальского возрождения“, близкий друг известного провансальского поэта, Фридриха Мистраля, автора двух поэм из народного быта; Мирейо и Cabendau. Го (род. в 1819 г.) в течение 20 лет был редактором либерального журнала: „Memorial d'Aix“. Его работы по литературе Прованса не потеряли своего интереса и по сию пору.

К стр. 120-й.

Муравьев, Михаил Николаевич, государственный деятель (1796—1866 г.), усмиритель польского восстания, 1 мая 1863 г. назначенный генерал-губернатором восставших губерний, с чрезвычайными уполномочиями. Смысл реплики польской дамы („Вы не русская душою, раз не разделяете взгляда Муравьева“), очевидно таков: все русские, не только правительство, но и народ одинаково ненавидят поляков и одинаково виноваты в жестокостях Муравьева при подавлении восстания.

К стр. 123-й.

Вериго, Александр Андреевич, химик (1835—1905), позднее профессор Одесского университета; проводил эти годы (первая половина 60-х годов) в Швейцарии. Его труды печатались большей частью по-немецки и по-французски.

Запись от 29 июня предшествуют записи от 27 июля — так в тексте.

К стр. 161-й.

Публикуемые здесь письма Достоевского (за исключением последнего от 23 апреля 1867 г.) были взяты при обыске, произведенном в квартире брата Сусловой, в начале июня 1868 г. Эти последние письма Достоевского, написанные ей незадолго до ее возвращения в Россию, составляют ничтожную часть их переписки. В записной книжке Сусловой имеются даты их переписки за годы: 1864, 1865 и начало 1866 г. За 1864 г. она получила от Достоевского всего девять писем (от 27 марта, 17 апреля, 16 мая, 3 июня, 11 июля, 2 августа, 2 сентября, 26 сентября, 18 октября); столько же писем написала ему и она (от 21 мая, 3 июня, 23 июня, 4 июля, 9 июля, 3 августа, 5 сентября, 27 сентября, и 29 декабря). За 1865 г. от Достоевского всего шесть писем (13 января, 6 марта, 15 апреля, 7 мая, 29 сентября, 5 октября), от Сусловой же к нему—одиннадцать писем (18 февраля, 3 марта, 6 мая, 7 августа, 13 августа, 13 сентября, 26 сентября, 2 октября, 26 октября, 6 декабря и 15 декабря), и, наконец, за 1866 г. от Достоевского одно письмо от 4 февраля, от нее же к нему два письма: от 2 марта и 9 мая. Надо думать, в что записной книжке отмечена не вся переписка, так как печатающиеся здесь три письма Достоевского в книжке отсутствуют.

СОДЕРЖАНИЕ

Литературно-художественное издание

Серия "Редкие книги из частных коллекций"

Суслова Аполлинария Прокофьевна

ГОДЫ БЛИЗОСТИ С ДОСТОЕВСКИМ
Дневник — повесть — письма

Редактор Н.Толкунова
Художник А.Шаталов
Технический редактор И.Борисычева

Н/К

Подписано в печать с готовых диапозитивов 17.06.91 г.
Формат 84х108 1/32 Бумага книжно-журнальная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,08 Усл. кр.-отт. 10,29 Уч.-изд. л. 9,33
Тираж 100 000 экз. Заказ 6209.
Цена договорная.

Коммерческое издательство РУССЛИТ, 121248, Москва, Кутузовский пр. I

Типография издательства ЦК Компартии Узбекистана
ГСП, Ташкент, ул. газеты «Правда», 41

Многие годы Аполлинария Суслова была связана с Достоевским самыми тесными узами и послужила прототипом некоторых его женских образов. Впоследствии она стала женой Василия Розанова.
Эта женщина, которая сыграла огромную роль в жизни двух великих людей и сама была знаменитой фигурой в литературной жизни своего времени.

